

ЖАН РЭ

*Точная
формула
кошмара*



Коллекция «ГАРФАНГ»

Жан Рэ
Точная формула
кошмара (сборник)
Серия «Коллекция «Гарфанг»»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5808611

Точная формула кошмара / Пер. с фр. А. В. Хорева, Е. В. Головина:

Языки русской культуры; Москва; 2000

ISBN 5-7859-0181-1

Аннотация

Бельгиец Жан Рэ (1887-1964) – авантюрист, контрабандист, в необозримом прошлом, вероятно, конкистадор. Любитель сомнительных развлечений, связанных с ловлей жемчуга и захватом быстроходных парусников. Кроме всего прочего, классик «черной фантастики», изумительный изобретатель сюжетов, картограф inferнальных пейзажей.

Содержание

Мальпертьюи	6
Краткий обзор в качестве предисловия и объяснения	7
Часть первая	11
Глава вводная	11
Глава первая	17
Глава вторая	46
Глава третья	67
Глава четвертая	86
Глава пятая	106
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Жан Рэ

Точная формула кошмара

OBSCURUM PER OBSCURIUS

IGNOTUM PER IGNOTIUS

Коллекция «ГАРФАНГ»

ЛИТЕРАТУРА БЕСПОКОЙНОГО ПРИСУТСТВИЯ

В коллекцию «ГАРФАНГ» войдут произведения черной, фантастической, зловещей беллетристики. В основном.

Но это вовсе не стоит понимать однозначно. Ведь наш закат – это рассвет антиподов.

И даже в сердцевине ада тлеет искорка божественного смеха.

Гарфанг – белая полярная сова – с давних времен символизирует бесстрашный поиск неведомого. Знаменитый викинг Торфин Карлсон – один из открывателей нового материка – начертал гарфанга на своем щите.

Когда Раул Амундсен умирал от истощения в полярных льдах, он увидел гарфанга и понял, что берег близко. Но какой берег?..

Коллекцию ведет *Евгений Головин*

В издании коллекции участвуют
Сергей Жигалкин, Ирина Колташева

Мальпертьюи

История фантастического дома

Я посвящаю эту книгу моему славному собрату и другу Жюлю Стефану, одному из Объединенных Авторов.

Обращение к Станисласу-Андре Стееману, еще одному из Объединенных Авторов:

На 111 странице вашего Убитого Манекена написано: Надо бы снести этот дом до основания – он производит на меня гнетущее впечатление чудовищного гасильника. Прошлое разъедает его, подобно раковым метастазам. Однако не в моих силах хотя бы взорвать чертово логово, как мы пытались сделать это еще мальчишками.

Эти слова преследуют меня, Стееман.

Я поставил бы их эпиграфом к «Мальпертьюи», если бы имел на это право, но разрывы самых мощных снарядов не в силах рассеять его тень и вынудить содрогнуться витражи на его фасаде.
Ж. Р.

Перевод с французского Андрея Хорева

Краткий обзор в качестве предисловия и объяснения

В монастыре Белых Отцов мне повезло.

Ничего не стоило прихватить сколь угодно драгоценных вещей, однако меня, человека верующего, пусть и не слишком набожного, преисполняет ужасом сам помысел присвоить священные сосуды – будь они хоть из литого золота и серебра.

Достойные отцы долго еще будут оплакивать пропавшие палимпсесты, инкунабулы и псалтири, зато вознесут благодарственную молитву Господу, ибо отвратил нечестивую руку от их потиров и дароносиц.

В тяжелом оловянном футляре, спрятанном в тайнике монастырской библиотеки, я надеялся обнаружить парочку стоящих пергаментов – не слишком щепетильный коллекционер хорошо бы за них заплатил, – увы, внутри оказалась лишь какая-то довольно неряшливая рукопись, которую я решил одолеть в дни будущего досуга.

И такие дни не замедлили наступить: моя вылазка не только обеспечила безбедный досуг, но и позволила зажить тихо и спокойно. Деньги – вот что делает человека порядочного, то есть живущего как все.

Здесь я вынужден сообщить кое-что о себе – по причине вполне очевидной – предельно кратко.

В семье мне прочили преподавательскую карьеру. Достоинственно закончив Эколь Нормаль, я защитил диссертацию на филологическую тему при общем восторге экзаменаторов – увы, здесь не место хвалиться подробностями. Теперь вам известна сфера моих интересов, и понятно, почему я не пренебрег упомянутой находкой и не смутился открывшимися запутанными, даже загадочными обстоятельствами. Результаты моих изысканий оказались поразительными сверх всякого ожидания...

Вытряхнув из оловянного футляра на стол ворох скрученных пожелтелых листков, я призвал в помощь послушническое терпение и любознательность минувших студенческих лет: предстояла кропотливая работа, дабы поначалу просто разобраться, что к чему.

В глазах издателя вся эта кипа бумаги не стоила бы и гроша, ибо в избытке снабжена была бесконечными отступлениями, сомнительными суждениями и псевдонаучными концепциями.

Итак, перебирать, сортировать, отбрасывать твердой рукой.

А у авторов рукописи (четырех или пяти – считать можно по-разному) рука, водившая пером, часто дрожала от ужаса.

Первым пишет незаурядный авантюрист и деятель церкви – он был рукоположен в сан, – его следует назвать Дуседам Старший, в отличие от потомка – поистине святого, досточтимого аббата Дуседама, единственного, кому удалось

светлым лучом истины пронизать мрачную историю Мальпертью. Итак, Дуседам Старший – первый, а Дуседам Младший – третий из авторов манускрипта. По моим подсчетам, авантюра Дуседама Старшего относится к первой четверти прошлого, девятнадцатого века, а озарения его внука аббата – к началу последней четверти того.

Между ними, второй хронологически, – некий молодой человек, блестяще образованный и, на мой взгляд, превосходно воспитанный, но неизменно отмеченный каленой печатью злосчастья. Ему мы обязаны центральной частью всей истории.

В головокружительных и грозных арканах его судьба связана с событиями, разбросанными во времени и пространстве. Первые страницы повествования наводят на мысль о дневнике, в духе тех, что в прошлом веке вошли в моду у молодых почитателей «Сентиментального путешествия» Стерна. Однако по мере чтения такое впечатление рассеялось: очевидно, автор доверялся бумаге лишь в минуты тревоги, в предчувствии скорого прощания с жизнью.

Есть еще и маленькая, аккуратно исписанная тетрадка в металлическом переплете – с ней число очевидцев разных периодов нашей истории возрастает до четырех.

Аккуратный почерк принадлежит Дому Миссерону, покойному настоятелю монастыря Белых Отцов, где в ходе успешной операции мною и был изъят оловянный футляр. На последней странице тетрадки проставлена дата, незабле-

мая вежа в безудержном потоке времени – 26 сентября 1898!

В-пятых и последних: к пишущим я должен причислить и себя; часто даже не зная об откровениях соавторов, все четверо – или, если хотите, пятеро – в совокупности начертали повесть Мальпертьюи, определив ей место в истории кошмаров рода человеческого.

Началом я положил краткую главу, оставленную несо-
мненно Дуседамом Старшим, хотя он и не говорит от своего имени. В авторстве этих страниц меня убедил почерк – со-
всем в другой части манускрипта Дуседам Старший мимохо-
дом и недвусмысленно упоминает о том, что рукопись напи-
сана им самим, а почерк в обоих случаях идентичен. Похоже,
сей пастырь-ренегат, человек образованнейший, но испол-
ненный злобы, намеревался в форме безличного повество-
вания описать собственные похождения; упоминая имя Ду-
седама в третьем лице, он не щадит себя в коллизиях с дру-
гими персонажами, скорее напротив, находит циничное удо-
влетворение, живописуя в самых черных тонах свои злодея-
ния.

По-видимому, буйный образ жизни воспрепятствовал пи-
сательским устремлениям, и Дуседам ограничился несколь-
кими страницами, весьма, однако, важными для истории
Мальпертьюи в целом.

Я сохранил в неизменном виде весь фрагмент, включая
заглавие.

Часть первая

Алекта

Глава вводная

Видение Анахарсиса

Хоть вы и воздвигаете церкви, строите вдоль каждой дороги часовни и ставите кресты, вы не сможете помешать богам древней Фессалии вновь и вновь воскресать в песнях поэтов и книгах ученых.
ГОТОРН

Пелена тумана разорвалась и открылся остров, чью близость предвещал рев прибоя. Зрелище было столь устрашающее, что моряк по имени Анахарсис, судорожно вцепившись в румпель, заорал от ужаса и отчаяния.

Уже несколько часов его тартана «Фена» неслась навстречу гибели, влекомая смертоносным притяжением этого чудовищного утеса; и вот он предстал в яростной вспышке молнии: гигантские белесые валы разбивались о неприступные скалы.

Анахарсис кричал от страха смерти, ведь смерть была рядом с самого рассвета. Сначала обломком рея убило рулевого Миралеса, а когда суденышко дало крен на правый борт

и схлынувшая вода обнажила левый шпигат, Анахарсис увидел труп Эстопулоса: голова юнги застряла в шпигате.

Со вчерашнего вечера «Фена» не слушалась руля, и все действия Анахарсиса были чисто инстинктивными.

Впрочем, он сознавал, что полностью утратил ориентацию, дрейфуя по воле враждующих ветров и неизведанных течений. За много лет плавания по родным морям он ни разу не видел этого острова.

Ветер с губительно близкого берега донес отвратительный запах анагира, трижды проклятой травы, – моряк понял, что стал жертвой злых духов.

В вышине над гребнями скал парили огромные формы – не найти иного имени, дабы назвать то, что он увидел: гигантские, вне всякого человеческого разума, формы – омерзительно человекоподобные и разнополые, судя по мощным контурам одних и плавным очертаниям других. Разнились они и величиной: одни почти в человеческий рост, иные напоминали безобразных карликов, – впрочем, моряк мог ошибиться изза расстояния.

Оцепенелые в позе мучительного отчаяния, призраки, казалось, пронизали взором бушующее над ними небо.

– Трупы, трупы с гору величиной, – всхлипнул моряк, в страхе закрыв лицо при виде некой фигуры, невыразимо величавой в своей грозной неподвижности.

Лишь одно видение не парило над скалой – оно слилось с ней воедино. Поистине нечеловеческое страдание исказило

его очертания: казалось, гигантская рана, подобная рваному зеву пещеры в теле горы, не давала угаснуть отвратительной судороге – последнему знаку жизни в inferнальной покойницкой.

Но вот... зоркий глаз моряка уловил в вышине движение – тень скользнула в разрыве меж клочьями тумана... да, теперь он бы поклялся, что видит птицу – птицу величины немыслимой. В порывах ураганного ветра пернатый монстр то возносился, то снижался, однако неизменным фокусом причудливых орбит его полета оставался силуэт, плененный скалой. Неуловимое мгновение – и чудовищный хищник низвергся на свою жертву, свирепо и жадно терзая когтями и клювом призрачную плоть...

Вихрь обрушился на тартану, закружил волчком и отбросил далеко в сторону от кипящего прибоя. Мачта и бушприт сломались, словно спички, и труп юнги выбросило за борт.

Обломок рангоута рухнул на Анахарсиса – удар пришелся по голове.

На миг он потерял сознание, а когда очнулся, цеплялся уже не за румпель, а за расщепленную культю мачты.

Остров и отвратительные видения поглотил туман, но прямо перед Анахарсисом маячила еще более мерзкая личина. При виде жестоких глаз и безобразно вывернутых губ моряк едва не закричал от ужаса, но тут же понял, что кошмарная образина, столь устрашающая на первый

взгляд, вовсе не таила злобных намерений, ибо принадлежала резной деревянной фигуре.

Фигура венчала высокий заостренный фориштивень, неотвратно нависший над левым бортом «Фены»; секунда – и маленькое суденышко, не выдержав таранного удара, пошло ко дну.

На борту неизвестного корабля все же успели заметить Анахарсиса и в последний миг спасли от морской пучины, удачно подцепив багром.

С переломанными ребрами, невыносимой болью в крестце, с залитыми кровью волосами и бородой Анахарсис улыбался: наконец-то он снова на матросской койке, в маленькой каюте, освещенной подвесной лампой, – и среди людей. Несколько человек разглядывали спасенного и переговаривались между собой.

Один из них, дочерна загорелый и обветренный исполин, озадаченно поскреб в спутанной гриве темных волос.

– Дьявол что ли занес сюда проклятую тартану? – проревел он. – А? Его собеседник пребывал в неменьшем удивлении.

– Надо бы его допросить, да только ни черта не разберешь в этой тарабарщине. Пошлика за Дуседамом: он парень дошлый, авось что и выудит от утопленника, если только опять не нажрался в стельку.

У койки Анахарсиса появился заплывший жиром тип с лицом, покрытым чешуйками какойто заразы, и злобно ко-

сящими глазками. В знак приветствия он показал Анахарсису язык.

И обратился к моряку на его родном наречии островов архипелага.

– Как ты попал в эти места?

Дабы оправдать ожидания своих спасителей, Анахарсис с величайшим усилием собрался и, одолев боль, сдавившую грудь, кое-как заговорил о своих блужданиях, об ужасной буре, забросившей «Фену» далеко от родных берегов.

– Твое имя? – спросил человек по имени Дуседам.

– Анахарсис.

– Как? Еще раз!

– Анахарсис... В нашем роду это имя передается от отца сыну.

– В бога душу! – возопил Дуседам своим сотоварищам. – Ты что, Дуседам? – изумился кто-то.

– Подавиться мне своим ночным колпаком, если это не перст судьбы! – Ну-ка ты, сальный бурдюк, в чем дело? – приказал черноволосый.

– Терпение, господин Ансельм, – с насмешливым почтением отозвался жирный тип, – надобно кое-что припомнить, сообразить...

– Под виселицей будешь припоминать и соображать, наставничек чертов! – загремел господин Ансельм.

– Анахарсис, – неизвестно кому поклонившись, объяснил Дуседам, – философ скифского происхождения, жил в VI ве-

ке до Рождества Христова, объездил все аттические острова и пытался учредить в Афинах культ Деметры и Плутона. В дела божественные соваться не всегда безопасно, и потому затея Анахарсису дороговато обоилась – беднягу удушили.

Владелец «Фены» ничего не понимал и, чувствуя, что слабеет, снова заговорил – на сей раз о кошмарных видениях туманного острова.

Слушая его, Дуседам вдруг принялся вопить и жестикулировать.

– Вот оно! – радостно осклабился он. – Друзья мои, обещаю вам золота полный трюм! Анахарсис, глашатай божественной воли, через последнего потомка завершает свою миссию. Так значит, века и тысячелетия фантомам не помеха!

Господин Ансельм озаботился:

– Уточни, в каком направлении двигалась тартана последние часы.

– Прямо на юг, – едва слышно прошептал раненый, когда Дуседам перевел вопрос.

– А что?

– Пассажиры нам не нужны, – порешил господин Ансельм.

– Видно, Анахарсисам на роду написано удушение, – захотал толстяк Дуседам.

Разговора Анахарсис не понял, но угадал свою участь –

лица людей, подаривших ему час жизни, были неумолимы.

Моряк зашептал молитву, которую ему не суждено было дочитать в этом мире.

Прежде чем вернуться к рассказу Дуседама Старшего, я представляю читателю первую часть повествования Жан-Жака Грандсира. Как уже сказано, его исповедь-воспоминание наиболее важна для нашей истории: пожалуй, все ужасы Мальпертюи так или иначе сопряжены с трагической судьбой Жан-Жака Грандсира.

Глава первая

Дядюшка Кассав отходит

*Тот, кто постигает тайну своей смерти,
а живущим оставляет тайну своей жизни,
обкрадывает и жизнь, и смерть.*

СТЕФАН ЗАНОВИЧ

Дядюшка Кассав скоро умрет.

Белоснежная, то и дело подрагивающая борода ниспадает на грудь, сам дядюшка утопает в красной перине. Ноздри втягивают воздух, словно он напоен сладостными ароматами, огромные волосатые руки готовы вцепиться в любую добычу. Служанка Грибуан, принеся чай с лимоном, выразилась так:

– Вещички упаковывает.

Дядюшка Кассав услышал.

– Пока еще нет, женщина, пока еще нет, – ухмыльнулся он.

Прислуга ретировалась – испуганно шелестящий смерч юбок; а дядюшка добавил, обращаясь ко мне:

– Не так уж долго мне осталось, малыш, но ведь умирать – дело серьезное, и спешить тут не следует.

Минутой позднее он снова блуждает взглядом по комнате – ничего не упуская, будто составляет окончательную опись: игрок на теорбе – статуэтка поддельной бронзы; тусклая миниатюра Адриана Броуэра¹; дешевенькая гравюра – женщина играет на старинной колесной лире; и ценнейшая «Амфитрита» кисти Мабузе².

Стук в дверь, входит дядя Диделоо, здоровается:

– Добрый день, двоюродный дядя.

Он один из всей семьи так называет дядюшку Кассаву.

Диделоо – чинуша и зануда. Карьеру начинал учителем, да с учениками так и не справился.

Теперь он заместитель начальника в одной из муниципальных служб и, насколько может, третирует подчиненных экспедиторов.

– Ну, начинайте выступление, Шарль, – говорит дядюшка Кассав.

¹ Броуэр (Брауэр) Адриан-фламандский художник (1605 или 1606–1638).

² Мабузе (наст. имя Ян Госсарт или Госсарт) – фламандский художник (1472 или 1478–ок. 1533/1536). *–Здесь и далее примечания переводчиков.*

– Охотно, двоюродный дядя; опасаясь, однако, вас чрезмерно утомить.

– Ну так повосхищайтесь собой молча и побыстрее – мне ваша физиономия не больно-то приятна.

У старого Кассавы явно портится настроение.

– Увы, я вынужден привлечь ваше внимание к низменным проблемам материального порядка, – начинает свои причитания дядюшка Диделоо. – Нам нужны деньги...

– Да неужто? Вот уж удивили так удивили!

– Надо заплатить врачу...

– Самбюку? Накормить его, напоить, а ежели нужно, пусть спит на софе в гостиной – и довольно.

– Аптекарь...

– Я к лекарствам и не притронулся. Все пузырьки и порошки прилежно забирает ваша прелестная жена Сильвия, страдающая, как известно, всеми болезнями, какие только ей удалось обнаружить в медицинском словаре.

– Много и других расходов, двоюродный дядя... Откуда нам взять столько денег?

– Сундук с золотом зарыт в погребе – третья камера, девять футов четыре дюйма под седьмой плитой. Хватит?

– О, благородный человек, – пускает слезу дядюшка Диделоо.

– К сожалению, про вас, Диделоо, этого не скажешь. А теперь убирайтесь-ка... болван!

Шарль Диделоо злобно косится в мою сторону и скользит

к выходу; он такой тощий и плюгавый, что без труда просачивается в чуть приотворенную дверь.

Дядюшка Кассав смотрит на меня.

– Повернись-ка к свету, Жан-Жак.

Я повинуюсь. Умиравший тягостно-пристально разглядывает меня.

– Ничего не попишешь, – после довольно долгого обследования ворчит он, – вылитый Грандсир, хоть и прилизанный малость. В жилах капля крови поспокойней – и смотри-ка, на вид куда благородней, чем твои предки. Да уж... А вот твой дед Ансельм Грандсир – в те времена его звали просто господин Ансельм – отъявленный был мошенник!

Это любимый дядюшкин эпитет, и я совсем не обижаюсь, потому что деда, оставившего по себе столь дурную память, никогда не видел.

– Не помри он на гвинейском берегу от бери-бери, так и вовсе бы законченным мерзавцем стал, – веселится дядюшка Кассав. – Вот уж кто любил все доводить до конца!

Дверь распахивается, появляется моя сестра Нэнси.

Облегающее платье подчеркивает статную фигуру, глубокий вырез корсажа нескромно приоткрывает великолепные формы.

Ее лицо пылает гневом.

– Вы прогнали дядю Шарля, – выпаливает она. – И подделом, пусть не суется не в свое дело. К сожалению, он прав, нужны деньги.

– Ты и он – большая разница, – отвечает дядюшка Касав.

– Ну, а где же деньги? – выходит из себя Нэнси. – Грибуаны не могут заплатить по счетам.

– Почему не возьмете в лавке?

Нэнси смеется отрывистым, резким смешком, который вполне подходит к ее надменной красоте.

– Сегодня с семи утра всего шесть покупателей, выручка – сорок два су.

– А мне говорят, дела, дескать, наладились, – ухмыляется старик. – Не переживай, моя красавица. Возвращайся в лавку, достань малую стремянку с семью ступеньками, полезай на самую верхнюю. Смотри, в лавке чтоб не торчал какой клиент несимпатичный – юбки-то у тебя ох как коротки... Ты у нас высокая, с последней ступеньки как раз дотянешься до жестяной коробки с этикеткой «сиенская охра». Так вот, как следует пошарь своими прекрасными белыми ручками в сей скучной коробке, найдешь несколько сверточков, четыре-пять – этакие, знаешь, цилиндрики коротенькие, зато весьма увесистые. Постой же, не спеши, мне приятно поболтать с тобой. Да будь поосторожней: если порошок сиенской охры попадет под ногти, и за несколько часов не отчистишь. Ну ладно, ладно, беги, прелесть моя, а ежели на темной лестнице Матиас Кроок ущипнет тебя за мягкое место, на помощь не зови, все равно не приду.

Нэнси показывает нам язык, алый и остренький, как язы-

чок пламени, и, хлопнув дверью, исчезает.

Слышен стук ее каблучков по гулким ступеням, через минуту негодующий возглас:

– Свинья!

Дядюшка Кассав ухмыляется:

– Это не Матиас!

Звук оплеухи.

– Это дядюшка Шарль!

Старик в отличном настроении, и только свинцовый оттенок лица да зловещий присвист в груди выдают близость смерти.

– Да, Нэнси вполне достойна своего деда-мошенника! – с явным удовольствием констатирует старый Кассав.

В комнате вновь воцаряется молчание; свистит старый клапан сокрытых в груди мехов, поддерживающих огонь в невидимой жаровне, с шершавым шорохом пальцы царапают покрывало.

– Жан-Жак!

– Я здесь, дядюшка Кассав!

– Вы с Нэнси сегодня утром получили известие от отца, от Николаса Грандсира?

– Вчера утром, дядюшка.

– Ну, неважно, днем больше, днем меньше, мне уже все едино. Откуда письмо?

– Из Сингапура. Отец в добром здравии.

– Если только его не вздернули за те двенадцать недель,

пока шла почта. Бог ты мой, если бы он когда-нибудь вернулся...

Дядюшка о чем-то размышляет, по-птичьи склонив голову набок, – этакий мудрый старый ворон:

– Нет, не вернется он... Да и чего ради? Грандсиры рождаются, чтобы поднимать все паруса под всеми ветрами белого света, а не плесневеть под крышами домов человеческих.

Входит Нэнси, улыбается, ни тени плохого настроения.

– Я нашла пять свертков, дядюшка Кассав, – объявляет она.

– Как оно, золото, – тяжеленько? – усмехается дядюшка. – Уж ты-то наверняка сообразишь, что с ним делать?

– Еще бы! – нахально заявляет Нэнси.

И вновь исчезает, бросив мне напоследок:

– Жижи, тебя ждет на кухне Элоди.

С лестницы слышится ее смешок – на сей раз мягкий, ласкающий – и довольное куропаточье квохтанье.

– Вот теперь уж точно Матиас! – комментирует дядюшка и громко хохочет, игнорируя хриплую какофонию протеста в груди.

– Она сказала, пять свертков? А ведь было шесть! Вполне достойная внучка мошенника Ансельма Грандсира... Тем лучше!

Визитеры, собственное веселье и монологи заметно утомили старого Кассава.

– Иди-ка к Элоди, малыш, – говорит он усталым глухим

ГОЛОСОМ.

А мне того и надо: снизу, где в одном из бескрайних мрачных подвалов разместилась кухня, огромная, словно конференц-зал, доносится запах свежееиспеченных вафель и изысканный аромат масла, топленного с корицей и сахаром.

Иду по бесконечному темному коридору – далеко впереди слабо мерцает светлый прямоугольник.

Там, в открывшейся глубине необъятного вестибюля, бойкое сияние газового рожка выхватывает из сумрака фасад крохотного, словно игрушечного магазинчика – будто смотришь на него в перевернутую подзорную трубу.

У этой москательной лавчонки, словно прильнувшей к груди хозяйского дома-покровителя, весьма примечательная история... Впрочем, еще будет время к ней вернуться.

Через открытую дверь видно прилавок потемневшего дерева, всевозможные склянки с едкими веществами, связки бумажных пакетиков; и Нэнси с приказчиком Матиасом – близко, даже чересчур близко прильнувших друг к другу.

Но это зрелище не особенно меня интересует: аппетитный зов кухни куда сильнее праздного юного любопытства.

Веселая песенка булькающего масла и перестук вафельниц вносят радостную ноту в молчаливый вечерний сумрак.

– Явился наконец, – ворчит моя старая няня Элоди, – а то доктор уже подбирался к твоим вафлям.

– Они в самом деле хороши, эти вафли, – сладкие, как раз такие я и люблю, – слышится слабый голосок из темного

угла.

В кухне нет газового освещения – подобное роскошество предусмотрено дядюшкой Кассавом только для лавки. Лампа с фитилем скупо освещает стол; тарелки белоснежного фарфора отвечают неожиданными бликами. Печь пышет теплом, и потоки горячего воздуха то и дело колеблют огонек свечи на каминной полке; рядом лежит черная чугунная вафельница.

– Как больной? – продолжает голосок. – Прекрасное самочувствие, не правда ли?

– Так вы думаете, он поправится, доктор?

– Поправится? И речи быть не может. Конец, медицина вынесла приговор Кассаву. Но я все же готов для него постараться.

Старческая, иссохшая, мертвенно-бледная, точно вылепленная из воска рука размахивает в свете лампы листком бумаги.

– Вот свидетельство о смерти и разрешение на предание земле – составлено должным образом и подписано мной лично. Только даты недостает. Кстати, еще вчера причиной смерти значилось двустороннее воспаление легких; однако я думаю, что «болезнь Брайта»³ звучит куда внушительней.

Ведь надобно же оказать старине Кассаву хотя бы эту услугу, не так ли? А теперь, славная моя Элоди, я бы охотно угостился еще одной чудесной вафлей.

³ Хронический нефрит.

Так рассуждает доктор Самбюк: дядюшка хоть и примирился с его визитами, но не признает никаких предписаний.

Доктор такой щедедушный и маленький, что рядом с Элоди даже в высокой шляпе выглядит карликом – едва ей до подбородка достает, а ведь Элоди и сама не великанша.

Все личико у него в складках и морщинах, а на сей скомканной миниатюре внезапно выдается гладкий и мясистый розовый нос.

Прозрачная, словно воск, тонкая рука с неожиданной силой разламывает вафли на правильные квадратики и поливает их маслом и патокой.

– Пожалуй, я постарше его буду, хотя о нашем дорогом Кассаве трудно знать что-нибудь наверняка, а вот он уходит первым, – радостно кудачет старый гурман. – Подобные события весьма утешительны в моем возрасте: так и кажется, а вдруг смерть про тебя забыла? Кто знает? Может, так оно и есть. Мы ведь связаны сорокалетней дружбой, искренней и прочной. Познакомились на пассажирской барже – Кассав возвращался с охоты, подстрелив пару веретенников. Я поздравил его с трофеем – не каждый стрелок добудет такую пугливую птицу.

Ну а он в ответ пригласил отведать дичинки. Разумеется, я не отказался! Да будет вам известно, мясо веретенника – если он успел нагулять жирку – даже нежнее, чем у его родича бекаса.

И с тех пор меня нередко удостаивали приглашения в

Мальпертью.

Мальпертью! Чернила тяжело сочатся с пера, когда скованная ужасом рука выводит на бумаге злое слово. В этом доме свершились многие судьбы, он подобен последней вехе на путях человеческих, воздвигнутой самим безжалостным роком. Я невольно отталкиваю мрачный образ, отступаю перед ним, словно пытаюсь отсрочить его неотвратимый выход на авансцену моей памяти.

Но персонажи в истории Мальпертью нетерпеливы и спешат сыграть свои роли, краткие, как отпущенный им земной срок; бытие вещей куда более долговечно – возьмите, к примеру, любой булыжник в каменной кладке проклятого дома. Не только бараны толпятся у входа на бойню, нетерпение и спешка точно так же подстегивают людей: зажженные свечи – нет им покоя, – пока не окажутся под гасильником Мальпертью.

Шуршащим вихрем врывается в кухню Нэнси; вафлям она предпочитает блины и раздирает их хищными белыми зубами – блины повисают в руке лоскутьями дымящейся кожи, сорванной с живой плоти.

– Доктор Самбюк, – интересуется она, – когда же умрет дядюшка Кассав? Вы-то должны знать.

– О цвет моих мечтаний, – отвечает старый врач, – кому адресован ваш вопрос – Эскулапу или Тиресиасу? Лекарю или прорицателю?

– Все равно, лишь бы ответил.

Самбюк рисует в воздухе восковым пальцем, это у него называется «припомнить небесную планисферу».

– Полярная звезда, как всегда, на месте – единственная постоянная особа в бесконечности пространства... Чуть пониже Плеяд, на правом борту, зажег огонь Альдебаран. Ядовитым светом заливают горизонт Сатурн.

Теперь повернемся... Да, сегодня Юг разговорчивей Севера: Пегас учуял конюшню Геликона; Лебедь поет, будто в зените вознесения предчувствует гибель; в зрачках Орла горит Альтаир, и Орел ищет гнездо поближе к богу пространства; Водолей весь замызгался, а Козерог...

– Короче, вы, как всегда, ничего не знаете, – негодует сестра.

– В мое время, – неожиданно меняет тему доктор, – вафли кропили ароматной померанцевой водой – сами боги не вкушали яства более изысканного. Ах да, моя роза, речь шла о нашем славном Кассаве, – он протянет еще с неделю. Впрочем, сказано неточно: его прекрасной душе потребуется ровно семь дней, дабы устремиться к божественно сияющим звездам.

– Дурак, – говорит сестра, – хватит и трех дней.

И она оказалась права.

В кухню заглядывает служанка Грибуан.

– Мамзель Нэнси, прибыли госпожи Корме лон...

– Проводите их в желтую гостиную.

– Но, мамзель, там не топлено!

– Именно поэтому!

– И мадам Сильвия с дочерью пожаловали, они господина Шарля ищут.

– В желтую гостиную!

Тут я протестую.

– Ведь тетя Сильвия не одна, она с Эуриалией!

– Да ладно, сам знаешь: жарко или холодно, буря или штиль – Эуриалии все нипочем. Послушайте, Грибуан, а кузен Филарет явился?

– Сидит в нашей малой кухне, мамзель Нэнси, и чуток выпивает с Грибуаном, говорит, чтоб не застудить внутренности.

– Он закончил работу для дяди Кассава? Если нет, выставить его за дверь.

– Мышиное чучело – да, да, мамзель, принес, очень даже славно получилось.

Доктор Самбюк смеется каким-то булькающим бутылочным смехом – точь-в-точь бутылка булькает горлышком.

– Последний трофей в списке охотничьих побед бравого Кассава! Поймал на своей перине мышку и нежненько придушил ее двумя пальцами. А ведь тому сорок лет и веретенников стрелял!

Буль-буль!

– Всех в желтую гостиную, – командует Нэнси, – я хочу кое-что сообщить.

Мамаша Грибу ан удаляется, шаркая старыми шлепанца-

ми.

– Мне тоже идти? – с тоской вопрошает маленький доктор.

– Да, и хватит пожирать вафли.

– Тогда я прихвачу с собой чашечку кофе с ромом и побольше сахара. В мои годы посидеть в желтой гостиной – все равно что соснуть после обеда в погребе, – ворчит Самбюк.

Из всех мрачных и мерзлых комнат Мальпертью желтая гостиная самая гнусная, обшарпанная, зловещая и промозглая.

Сумрак едва рассеивают два канделябра о семи свечах каждый, только я больше чем уверен: Нэнси распорядится зажечь три, от силы четыре свечи витого воска.

Там, в полутьме, сидя на высоких стульях с прямыми спинками, люди превращаются в неясные тени, голоса шелестят, словно шорохи в пустыне, слышны лишь слова скорби, ненависти или отчаяния.

Нэнси берет из кухни лампу с фитилем, чтоб пройти по коридорам, где уже царит непроглядная темень. Потом лампа будет гореть в прихожей, на постаменте статуи бога Терма – Нэнси вовсе не намерена дополнительно освещать предстоящее сборище.

– Я оставлю тебе свечку, Элоди.

– На четки да на молитву хватит, – соглашается наша няня.

В желтой гостиной, как я и ожидал, – смутно чернеющие

силуэты.

Устраиваюсь на единственном низеньком стуле, напоминающем скорее церковную скамеечку для молитвы, и стараюсь распознать присутствующих.

Обитую черным репсом софу оккупируют три сестры Кормелон в своих неизменных траурных вуалях: три богомола вечером подстерегают какого-нибудь беспечного инсекта, ненароком попавшего в пределы их досягаемости.

В своей стылой неподвижности они словно не замечают никого, но я чувствую, как их взгляд с холодной злобой фиксирует наше появление.

Неотесанный, дурно одетый кузен Филарет, едва завидев нас на пороге, кричит:

– Привет! Не хотите взглянуть на мою мышку?

И размахивает дощечкой, на которой распято что-то серо-розовое.

– Сначала я хотел ее усадить в позу белочки, да вышло не больно-то удачно, совсем даже не здорово, – жизнерадостно поясняет он в своей обычной простоватой манере.

Семейство Диделоо расположилось поближе к свету канделябров.

Дядя Шарль сосредоточенно разглядывает свои надраенные до блеска ботинки. Тусклая и невзрачная тетя Сильвия – персонаж в стиле гризайль – адресует в нашу сторону улыбку безвольного рта; отчетливо слышно, как при малейшем движении у нее на шее постукивают друг о друга гагатовые

пластинки украшения.

А я глаз не могу отвести от дочери Диделоо, моей кузины Эуриалии. Даже в платье, сшитом по фасону исправительных заведений для распутниц, она превосходит красотой Нэнси: в роскошной рыжей гриве то и дело пробегают искорки, и глаза – нефритовые.

Сейчас они прикрыты веками, о чем я очень сожалею – с ними хочется играть, как с драгоценными камнями, перебирать их пальцами, ловить прихотливые зеленоватые отблески, оживлять своим дыханием.

Неожиданно раздается скрежет, схожий с вокалом птицы-сорокопута:

– Мы желаем видеть дядю Кассава!

Это взяла слово Элеонора, старшая из сестер Корме лон.

– Через три дня вы все его увидите, все вместе и в последний раз. Он собирается что-то объявить. Будут присутствовать нотариус Шамп и отец Айзенготт в качестве свидетеля. Такова воля дяди Кассава.

Все это Нэнси выговорила залпом и молча уставилась на пламя свечи.

– Речь пойдет о завещании, полагаю? – осведомляется Элеонора Корме лон.

Нэнси не отвечает.

– Я охотно с ним повидался бы, – подключается кузен Филарет, – уж он-то наверняка похвалил бы мою мышку. Но его воля – закон, я возражать не собираюсь.

– Теперь, когда нас объединяет... – начинает дядя Шарль.

– Нас? Только не надо говорить насчет единения и вообще о нас вместе! – взрывается моя сестра. – Если мы и собрались, то вовсе не для разговоров. Я сообщила все, что положено, можете расходиться.

– Мадмуазель, мы сюда добирались больше получаса! – возмущается Розалия, средняя сестра Корме лон.

– По мне, так добирайтесь хоть с того конца света, да туда и возвращайтесь, – с трудом сдерживая ярость, отвечает Нэнси.

Внезапно воцаряется молчание, тревожное беспокойство сковывает лица – всех, кроме Эуриалии. Эхо тяжелых шагов доносится из прихожей, словно под плитами разверзлась пустота, пронзительно скрипят петли открываемой двери.

Жалобно звучит чей-то голос:

– Кто же прячется в доме и постоянно гасит лампы?

– Боже мой! Лампы опять гаснут... – стонет тетя Сильвия.

– У статуи бога Терма горел свет, я только собрался подойти, порадоваться огоньку, как *он* затушил фитиль.

– Кто же это? – жалобно вопрошает тетя Сильвия.

– Неизвестно. Я боюсь его, он, верно, черный и страшный. И всегда гасит свет. Помните лампу на площадке, розовую с зеленым, так красиво освещающую лестницу? При мне чья-то рука загасила фитиль, и ночь словно хлынула из адского колодца и поглотила лестницу. Вот уже пять, может, десять лет – а может, и всю жизнь – я ищу встречи с ним, и все

безуспешно. Я сказал «ищу»? Нет, нет, встреча мне вовсе не нужна. А он все гасит лампы – задувает или тушит фитиль...

В комнату только что вошел новый странный гость пугающей худобы и огромного роста – выпрямившись, он превысил бы шесть футов. Все лицо этого скелетоподобного существа заросло отвратительной грубой щетиной, ржавого цвета балахон свисает с плеч.

Он радостно устремляется к зажженным свечам.

– Хоть здесь еще горят... Как прекрасно видеть свет, куда важнее, чем пить и есть.

– Лампернисс, ночной жук, тебе чего тут надо? – восклицает доктор Самбюк.

– Имеет полное право, – мгновенно парирует Нэнси, – он тоже будет на общем собрании.

– Там зажгут много свечей и ламп, – ликует старое чудище. – В моей лавке горит яркий свет, прекрасный, как заря, но мне туда нет доступа, так повелела высшая сила.

– Лампернисс... – начинает дядя Диделоо, унимая испуганно-брезгливую дрожь.

– Лампернисс?.. Да, правильно, меня так зовут... «Лампернисс. Лаки и краски» было написано над дверью красивыми трехцветными буквами. Я продавал любые краски, всех оттенков... и серные фитили, и сиккативы, и сланцевое масло, серую и белую мастику, охру, лак светлый и темный, цинковые и свинцовые белила – мягкие и жирные, как сметана, и тальк, и закрепители для красок. Я – Лампернисс, я

любил все цветное, а теперь живу в черной тьме. Я продавал черный костяной уголь и черную голландскую сажу и никогда никому не предлагал черную ночь. Я – Лампернисс, я хороший, меня упрятали в ночь, а в ночи тот, кто гасит лампы!

Плача и смеясь, страшилище тянется паучьими лапами к свечам, обжигает ногти, в убогом ликовании нечувствительный к укусам пламени.

Меня Лампернисс не пугает. Он обретаётся по заброшенным углам дома; раз в день где-нибудь в глухом переходе Грибуаны ставят миску варева, которое он иногда съедает.

А все присутствующие как-то съежились, словно инстинктивно опасаясь чего-то неизвестного. Невозмутимы только Нэнси и Эуриалия.

Сестра забирает из рук доктора Самбюка чашку, противно дребезжащую по блюдцу; кухня кажется спящей, но зелёный лучик скользит меж полуприкрытых век: наверняка она наблюдает явление жалкого ночного жука Лампернисса.

– Выметайтесь! – коротко бросает Нэнси гостям.

– Вы так вежливы, кухня... – скрежещет в ответ Элеонора Корме лон.

– Ждете, чтоб выставили за дверь?..

– Нэнси, прошу вас, – вступает дядюшка Диделоо.

– А вы... вам... – рычит Нэнси, – вам бы лучше помолчать и убраться восвояси, да поскорее.

– Разве вы здесь хозяйка, мадмуазель? – интересуется Розалия Кормелон.

– Дошло наконец?

– Она зажигает свечи, негасимые свечи, их никто не задувает! – восклицает Лампернисс. – Будь же благословенна!

Страшилище неуклюже переминается перед горящими свечами: на стене, как на экране, приплясывает тень, от которой, словно от живого существа, всячески норовит уклониться кузен Филарет, – бедняга, похоже, так ничего и не уразумел в быстросменяющихся, малоприятных событиях и репликах.

– Мои краски! – кричит Лампернисс, пританцовывая перед крохотными огоньками жалкой иллюминации, – они все тут! Я больше никому не продам их, и никто не придет их отнимать!

Внезапно он впадает в задумчивость, сквозь грязные серо-бурые заросли на лице глаза умоляюще обращены к Нэнси.

– А вдруг тот, кто гасит лампы... о, Богиня!

Одним жестом – движением жнеца, под рукой которого падают наземь горделивые колосья, – Нэнси закрывает собрание.

– Увидимся через три дня.

Медленная процессия теней потянулась к двери. Эуриалия следовала за матерью; без зеленого пламени ее глаза казались незрячими.

Дядюшка Шарль замешкался у порога. Похоже, хотел что-то сказать Нэнси, да передумал и выскользнул в сумрак пе-

редней. Короткая заминка стоила ему места в процессии, и Алиса, младшая из сестер Кормелон, прошла вперед.

Неожиданно послышалось ее болезненное «Ох!»

Нэнси рассмеялась своим пронзительным смешком.

– Ха! Он никак не уймется – вечно распускает свои руки.

Доктор Самбюк раскопал в углу тонкую тросточку и безжалостно стегал ею хнычущего Лампернисса.

– Ой-ой, – причитает несчастный паяц, – бесы отнимают у меня краски... Горе мне... куда же подевались краски – их нет... За что же меня бьют и бьют!

С криком бросился он к лестнице: его уродливый силуэт по-обезьяньи перепрыгивает со стены на стену под светом ламп – их по одной на каждой площадке.

– Вот одна и погасла! – вдруг завопил он.

Что-то черное, бесформенное проступает на миг то тут, то там на стенах и витражах высоких окон.

– И здесь погасла, и здесь! Это он, а я его не вижу. Он забрал весь свет и все краски. И опять бросил меня в ночь!

– На кухню! – скомандовала Нэнси. – Безумец прав. Тварь, что гасит лампы, совсем рядом!

И темнота откликнулась:

– Тварь-что-га-сит-лам-пы...

Нэнси равнодушно пожала плечами. Я очень любил сестру, но она всегда оставалась для меня загадкой. В страшном шквале событий, перетрясших наши жизни, женщины казались мудрее мужчин. Увы! Приближаясь к тайне, я с первых

же слов теряюсь в предположениях; так, гадая, можно обвинить мою сестру в безразличии: если она провидела будущее, почему не воспротивилась ужаснейшей из судеб?

– Ну вот, – сказала Элоди, откладывая четки.

И молча поставила на огонь вино с сахаром и пряностями.

– Славный вечерок, – высказался Самбюк. – А что, дети мои, не разговеться ли нам? Бравый Кассав любил ночное разговенье. После полуночи кушанья и вина обретают особый букет, вкус и аромат – это открыли еще древние мудрецы.

Почтенное состоялось разговенье. Среди прочего был подан язык в соусе, и доктор воспользовался случаем, чтобы поведать нам, как на пиру у Ксанфа-фригийца Эзопу подавали лишь блюда из языка, а он называл сию часть тела то лучшим, то худшим угощением на свете.

Самбюк наелся и раздулся, как недоросший питончик, Нэнси удалилась к себе в спальню, а мы с Элоди остались бодрствовать у постели заснувшего дядюшки Кассава.

На ночь его облачили в скуфью бергамского бархата с серебряной кисточкой; при тусклом свете ночника с плавающим фитилем он выглядел так комично, что я тихонько захихикал.

Дядюшка и в самом деле умер на третий день, последние часы перед кончиной будучи в абсолютно здоровом уме и разговорчивом настроении. Однако зрение временами отказывало – несколько раз он гневно восклицал:

– Куда пропала картина Мабузе? Шарль Диделоо, жулик вы этакий, верните картину на место! Все останется в доме, все, слышите вы?

Нэнси удалось его успокоить.

– Прелесть моя, – он взял руки сестры в свои когтистые лапищи, – назови всех присутствующих, а то вместо людей лишь какие-то тени.

– Нотариус Шамп сидит за столом с бумагой, перьями и чернильницей.

– Хорошо. Шамп свое дело знает.

Старый поверенный, с лицом суровым и честным, признательно склонил голову, хотя и понимал, что умирающий не видит его жеста.

– Кто дальше?

– Стул рядом с ним не занят.

– Так ты пригласила Айзенготта, чертовка?

– Конечно, дядюшка. Рядом с вами сидит мой брат Жан-Жак.

– Отлично, весьма приятно слышать... Ха! Мой юный друг Жан-Жак, твой дед тоже был мне другом – бог мой, еще каким другом! – и притом отъявленным мерзавцем. Уж он-то наверняка поджидает меня где-нибудь в закоулке Вечности, и это меня радует.

– Дамы Кормелон тоже здесь.

– Воронье слетелось на падаль! Мы ведь давненько знакомы, не так ли, Элеонора, Розалия и Алиса – хотя ты вроде

бы помоложе и уж несомненно покрасивей других. Понимаете, о чем я? Разумеется, *ведь порой вам дано понять*, ха-ха! Физиономии у вас злующие, зато нечистый вознаградил вас отменными мозгами. Прощайте, а поскольку за мной вроде еще должок, я его скоро улажу.

– Кузен Филарет...

– Да уж, кузен мой кровный родственник. С этим родством ни ему, ни мне ничего не поделать. Он здесь по праву, хотя, смею полагать, второго такого глупца не выходило из рук Создателя.

Филарет тоже поклонился, будто услышал от дяди Кассав величайшую похвалу.

Уловив его движение, Кассав улыбнулся.

– Филарет всегда исполнительен и услужлив, – мягче добавил он.

– Матиас Кроок... – чуть помедлив, тихо произнесла Нэнси.

Дядюшка был явно недоволен.

– Н-да, пожалуй, и несправедливо прогонять его... Да ничего, утешится! Пусть возвращается в свою любимую лавку.

Тут старик с трудом повернулся набок, силясь разглядеть молодого человека, и в глазах его мелькнула странная нерешительность.

– Я иногда ошибался в жизни, Кроок, – честно говоря, довольно редко, – но мне уже некогда исправлять ошибки. Справедливо или нет, уходите отсюда!

Матиас Кроок ретировался с жалкой улыбкой на сконфуженном красивом лице; глаза Нэнси пылали темным огнем.

– А вот и доктор Самбюк явился.

– Пусть забьется где-нибудь в кресло, и суньте ему чего-нибудь погрызть.

– Чета Грибуанов тоже здесь.

– Добрые и преданные слуги уже столько лет, что и не считать. Таковыми они и останутся.

– Лампернисс – на лестнице, следит за горящей лампой.

Дядюшка Кассав зловеще засмеялся.

– Пусть следит, пока горит лампа, ибо ее задуют.

– А здесь вот дядя Шарль Диделоо, тетя Сильвия и Эуриалия.

Умиравший скорчил гримасу.

– Когда-то Сильвия была красива, но это в прошлом. Я рад, что не вижу ее. Да, красотку Сильвию Шарль встретил на...

– Двоюродный дядя! Двоюродный дядя! – тревожно возопил Шарль. – Я вас умоляю!

– Ладно уж, – а ты, Эуриалия, мой прекрасный цветок, сядь подле меня с твоим кузенком Жан-Жаком. На вас двоих я только и надеюсь и с этой надеждой покидаю сей мир.

За дверью раздался умоляющий вопль:

– Нет, нет, не гасите лампу!

Порог переступил человек величественной наружности и, не обращая ни на кого внимания, уселся рядом с нотариусом

Шампом.

– Айзенготт пришел! – воскликнул дядя Кассав.

– Да, пришел, – возвестил голос, звучный, как колокол.

С трепетным почтением я взибал на вновь прибывшего.

Очень бледное удлинненное лицо, казавшееся еще длиннее благодаря пышной, пепельного оттенка бороде. Пристальный взгляд черных глаз; руки неправдоподобной красоты, какие иногда видишь у надгробных изваяний в церкви. Одет бедно, зеленый сюртук лоснится потертыми швами.

– Шамп! – торжественно провозгласил дядюшка Кассав. – Здесь собрались мои наследники, объявите сумму состояния, которое я оставляю им.

Стряпчий склонился над бумагами, медленно и раздельно выговорил цифру. Настолько огромную, непомерную, фантастическую, что у собравшихся голова пошла кругом.

Очарование золотой цифры нарушил возглас тети Сильвии:

– Шарль, ты подашь в отставку!

– Само собой, – ухмыльнулся дядюшка Кассав, – обязательно придется.

– Это состояние, – продолжал нотариус, – не подлежит разделу.

Испуганно-разочарованный ропот тут же утих, поскольку Шамп читал далее:

– После кончины Квентина Моретуса Кассавы все здесь присутствующие под страхом потери прав на наследство и

других возможных выгод должны поселиться и жить под крышей этого дома.

– Но у нас же есть дом, наш собственный! – простонала Элеонора Кормелон.

– Не прерывайте, – строго заметил поверенный. – ... Должны жить здесь до своей кончины, причем каждый получит пожизненную годовую ренту в...

И снова узкие губы стряпчего назвали колоссальную цифру.

– Свой дом продадим, – бормотала старшая из дам Кормелон.

– Все будут обеспечены кровом и питанием отменного качества, что специально оговорено завещателем. Супруги Грибуан, пользуясь благами наравне с остальными, останутся в положении прислуги и никогда не будут пытаться его изменить.

Нотариус сделал паузу.

– Строение Мальпертюи не должно подвергаться никаким переделкам. Последнему из живущих под его крышей перейдет вся завещанная сумма.

– Условия, касающиеся дома, распространяются и на москательную лавку; Матиас Кроок до конца будет исполнять обязанности приказчика с утроенным пожизненным содержанием. Только последний жилец дома имеет право закрыть магазин.

– Айзенготт ничего не получает, не ищет выгоды и не пре-

следует никаких интересов – он будет свидетелем безукоризненного соблюдения условий завещания.

Нотариус взял из папки последний листок.

– К завещанию имеется приписка. Буде случится, что последними останутся в живых мужчина и женщина, они обязаны вступить в брак – чета Диделоо автоматически исключается, – и состояние должно поровну разделить между ними.

Воцарилось молчание: разум отказывался принять все услышанное.

– Такова моя воля! – твердым голосом объявил дядюшка Кассав.

– Да будет так! – торжественно откликнулся сумрачный Айзенготт.

– Подпишитесь, – распорядился поверенный Шамп.

Все подписались, кузен Филарет поставил крест.

– Теперь уходите, – лицо у дядюшки Кассава внезапно искажилось. – Айзенготт, вы оставайтесь.

Мы ретировались в сумерки желтой гостиной.

– Кто проследит за нашим размещением в этом доме? – спросила Кормелон-старшая.

– Я, – коротко ответила Нэнси.

– А почему, собственно, ВЫ, мадмуазель?

– Попросить Айзенготта объяснить вам? – вкрадчиво осведомилась сестра.

– Мне кажется... – вмешался дядя Шарль.

– Чепуха! – оборвала Нэнси. – Впрочем, вот и господин Айзенготт.

Он прошел на середину комнаты и оглядел нас по очереди пристальным тяжелым взглядом.

– Господин Кассав желает, чтобы Жан-Жак и Эуриалия присутствовали при его последних минутах.

Все склонили голову, даже Нэнси.

Дядюшка Кассав тяжело дышал, в его стекленеющих глазах отражалось пламя свечей.

– Кресло, Жан-Жак... сядь в свое кресло... а ты, Эуриалия, подойди ко мне.

Кузина скользнула вперед, послушная и все же великолепно безразличная к странной торжественности момента.

– Посмотри мне в глаза, дочь богов, – пролепетал дядя изменившимся голосом, в котором, казалось, звучало боязливое почтение. – Посмотри мне в глаза и помоги умереть...

Эуриалия склонилась над изголовьем.

Умиравший испустил долгий вздох, я услышал несколько слов, тут же растаявших в тишине:

– Мое сердце в Мальпертьюи... камень в камне...

Кузина так долго не двигалась, что мне стало страшно.

– Эуриалия... – взмолился я.

Она обернулась со странной улыбкой на губах. Затуманенный взгляд полуприкрытых глаз – ни огонька, ни мысли.

– Дядюшка умер, – сказала она.

В этот миг отчаянное рыдание донеслось с лестничной

площадки.

– Он задул лампу... Я изо всех сил оберегал ее, и все-таки она погасла. Ой-ей-ей, лампа погасла!

Глава вторая

Знакомство с Мальпертью

*Гений ночи унес лисью голову, дабы украсить ею
свой дом и тем почтить его*
ИСТОРИЯ ХУСЕЙНА

*Малые божества, такие, как пенаты,
брауни, гласменнхены, отнюдь не суть духи,
но миниатюрные инкарнации и, следовательно,
абсолютно материальны и заимствуют силу от
земли, на коей живут.*
УОРТ (Сравнительный фольклор)

Солнце! Дайте мне солнце!
ИБСЕН (Привидения)

Настала пора обрисовать Мальпертью, и меня охватывает странное бессилие. Образ отступает, подобно замку Морганы, кисть неподъемно тяжелеет в руке живописца – столько деталей, требующих описания и определения, ускользают, теряют очертания и тают туманными клочьями.

И я отказался бы от поставленной задачи, когда б не помнил наставлений моего чудесного учителя, доброго аббата

Дуседама: мало смотреть, важно уметь видеть.

За шесть недель до смерти дядюшки Кассава мы перебрались с набережной Сигнальной Мачты в Мальпертью.

Я всегда с нежностью буду вспоминать наш дом на набережной. Маленькое, причудливое строение; благодаря зеленоватым стеклам окон днем в комнатах таился необыкновенно мягкий, словно аквариумный, полусвет, насыщенный ароматами вербены и любимого табака аббата Дуседама, ча-стенъко нас навещавшего.

Входная дверь открывалась в холл – единственное просторное помещение под кровлей, – за которым неусыпно надзирал со стены портрет моего отца, капитана Николаса Грандсира, в свою очередь охраняемый почетным караулом внушительной оружейной коллекции.

Поначалу капитан посылал вполне достаточно денег для оплаты жилья и относительно безбедного существования. Однако к моменту нашего переезда к дядюшке Кассаву чеки из сингапурских, шанхайских или кантонских банков приходили все реже и суммы все уменьшались.

В период сравнительного благосостояния в доме на набережной Сигнальной Мачты друзья не пренебрегали возможностью воздать должное кулинарным талантам Элоди, и аббат Дуседам, самый почетный из них, отличался постоянством.

Это был низенький человечек, округлый и толстенький, как бочонок, с жизнерадостной физиономией, подобной

полной луне, и всегда в запятнанной сутане.

Кроме хорошей кухни (здесь Элоди была на высоте), он любил доброе вино, голландский табак и старые книги.

Имя его вполне заслуженно не кануло в безвестность, ибо связано с некоторыми книжными изданиями, которые и по сейчас не утратили определенного авторитета. Так, читатель обязан ему весьма углубленным исследованием гравюр Уэнделла Диттерлинга, своеобразно написанной биографией Жерара Доу, а также изысканиями в области кузнечного искусства XV века.

Кроме того, аббат Дуседам продолжил любопытные труды доктора Мизе из Лейпцига, имевшие предметом исследования лики, язык и сравнительную анатомию ангелов.

Аббат доказывал, что сии небесные духовные сущности выражают свои мысли посредством светоиспускания, а цвет используют вместо звуков.

Он регулярно служил мессу, ни минуты не экономил на ежедневном чтении требника, подавал пример целомудрия и смирения – при всем том начальство его не любило. Занятия темой доктора Мизе создало ему незаслуженную репутацию ересиарха и повлекло неоднократные ссылки в монастырские обители со строгим уставом. Однако самые придиричivé и мелочно-щепетильные сановники церкви не смели предать забвению прошлое: молодые годы сего пастыря прошли под далеким небом, в гибельных краях, где рядовые поборники Христовы отстаивали славу Божию ценой собствен-

ных мучений и крови.

При каких роковых обстоятельствах свел он знакомство с капитаном Николасом Грандсиром? Аббат никогда не касался этого вопроса, а отец ограничивался тем, что завершал свои письма «горячим дружеским приветом славному святому Тату, которого хранит Господь на радость бедным смертным, дабы могли приобщиться вечной благодати».

– И что за «Тату» такое? – подозрительно спрашивала Элоди.

– А это такая толстая тварь вроде меня, – пояснял аббат Дуседам, – только вот она осталась на берегах Амазонки, не то что я – пью здесь доброе вино, ем всякие лакомства и во все не заслуживаю милосердия Господня.

– Как истолкуете вы название дома, принадлежавшего дядюшке Кассаву, – название, подобное проклятию? – спросил я однажды, изображая любопытство научно-познавательного толка.

Аббат Дуседам напустил на себя озабоченно-сосредоточенный вид, весьма ему чуждый, и объяснил:

– Мудрые мужи, сочинители знаменитого и столь красочного «Романа о Лисе», наделили именем Мальпертюи самое логово лисовина-коварного. Не слишком отдаляясь от сути употребления этого слова, я разумею Мальпертюи как обитель зла, или, скорее, лукавства. Лукавство же является, по преимуществу, прерогативой Духа Тьмы. Основываясь на оном постулате и трактуя его расширительно, я заключаю,

что Мальпертюи – прибежище Лукавого, то есть Дьявола...

Я скорчил испуганную гримасу.

– Предпочитаю просто лиса. На оконных рамах – помните, те парные окна на фасаде, – вырезаны какие-то мерзкие фигурки...

– Кальмары-стрела, гюивры, герпетоны, – уточнил аббат.

– И среди них лисьи морды еще самые симпатичные; а на каменных консолях под этажными перекрытиями – такие же изображения.

– Это не более чем зловредная *otocyon megalotis*, лисица большеухая. Однако не спешите, мой юный друг, не спешите. Лисий образ по праву относится к сфере демонологии. Японцы, признанные авторитеты в этой потаенной и грозной науке, недаром считают лиса кудесником, могущественным чародеем и ночным духом с весьма обширными возможностями инфернального толка. В некоторых гриму арах – кстати, я категорически против чтения и тем паче изучения подобных книг, – на гравюрах, изображающих борьбу святого Михаила с восставшим ангелом, поверженный Лукавый наделен притворной и нечестивой физиономией лиса.

К сожалению, сколько ни рылся я в архивах, выяснить мне не удалось, почему дом дядюшки Кассава был так назван. Полагаю, сим именем нарекли его монахи Барбускины – в прошлые века они владели большей частью служб и угодий, приписанных к дому. Лично у меня Мальпертюи вызывает печальные предчувствия и ощущение угрозы.

– Расскажите об ордене Барбускинов, – внезапно выпалил я, прекрасно зная, сколь неохотно Дуседам касался этой темы.

Его округлые толстенькие ручки беспомощно и досадливо задвигались.

– Орден... послушайте, мой мальчик, ордена как такового никогда не было – просто так говорилось в народе. Добрые монахи из обители, вами подразумеваемой, были бернардинцы, кои много претерпели от морских и сухопутных гёзов во время восстания Нижних провинций против Его Католического Величества...

Но я упорствовал.

– Верно, эти ваши монахи носили бороды, и потому...

– О нет, не впадайте в подобное вульгарное заблуждение: Барбускины носили не бороды, они надевали апостольники, монашеские куколи⁴, в знак покаянного обряда. Возможно, по этой причине они и получили прозвище – я бы все же не осмелился настаивать, тем более в письменной форме, на таком предположении! Мир их праху, ведь они были святыми людьми, и заслуги их приумножены выпавшими на их долю страданиями и гонениями.

– Так ли, аббат? Мне сдается, предание говорит совсем другое на сей счет!

– Замолчите! – взмолился аббат Дуседам. – Все это не бо-

⁴ Barbe-борода (*франц.*), barbute (barbette) – апостольник, куколь, нагрудник-части монашеского одеяния.

лее чем мерзкие слухи, заблуждения, увы, с дьявольской помощью живучие и упорные.

В таком духе проходили наши беседы на упомянутые темы; передав их содержание, я чувствую себя более готовым вернуться к описанию Мальпертюи.

Нередко склонялся я над старинными гравюрами с изображениями улиц старого города: исполненных надменной скуки, враждебных любой попытке оживить их хотя бы на бумаге с помощью света и движения.

Без всякого труда мне удалось разыскать улицу Старой Верфи, где находится Мальпертюи; а вот и сам дом в компании высоких, зловещего вида соседних строений.

Огромные крытые балконы с балюстрадой; каждое крыльцо – а их несколько – обнесено массивными каменными перилами; башенки, увенчанные крестами; на парных окнах крестообразные переплеты; резные изображения драконов и тарасков; обитые гвоздями двери.

В облике дома словно запечатлелись, слившись воедино, высокомерие его властителей – грандов и вельмож – и униженный страх простых прохожих, спешащих побыстрее проскользнуть мимо.

Фасад – мрачная маска, чуждая безмятежного покоя, искаженная личина, которой не утаить сжигающие ее изнутри горячку, страдание, гнев. Заснуть в одной из огромных спален дома – значит обречь себя на кошмар; постоянные его жилыцы поневоле знают с кровавыми призраками жертв, –

замученных, заживо ободранных, замурованных, – а может, с чем-то и пострашнее.

Так, по-видимому, думает случайный зевака, замешкавшийся в тени здания, – и вот он уже спешит прочь, к деревьям на перекрестке, к журчанию фонтана, белокаменной голубятне и соседней часовне Пресвятой Девы Семи Скорбей.

Увы!.. Я слишком уклонился от намеченной цели...

Аббат Дуседам упомянул как-то о старых архивах, где многое могло бы открыться об этом доме – могло бы, но не открылось.

Я вошел в Мальпертюи, проникся его настроением, для меня нет тайн в его закоулках. Ни одной упорно запертой двери, необследованной залы, запретной комнаты или потайного хода, и все же...

Все же на каждом шагу – тайна, и каждый шаг отбрасывает новую сумрачную тень – темница неотступно следует за пленником.

Аббат Дуседам неединожды интересовался прилегающим садом: просторный, словно парк, окруженный такой устрашающе высокой стеной, что остроконечные металлические стержни наверху отбрасывали тень лишь перед самым полуднем.

Если смотреть из стрельчатых окон дома, кажется, вся обширная площадь сада покрыта ровным газоном, на котором волнистыми зелеными шапками выделяются вековые деревья. А на самом деле растет здесь редкая и жесткая трава,

кущие деревца бересклета да чахлый кустарник; лишь у самого основания стены заросли овсюга и кислицы торжествуют над бесплодием почвы.

Угрюмые деревца бережно охраняют от дневного света непонятно чьи личинки, копошащиеся в земле, и пышную мертвенно-бледную поросль из семейства споровых.

Но привычные формы жизни, неотлучные от жизни нормального дерева, изгнаны отсюда: в ветвях не углядишь нагловатой побегжки дрозда, не спугнешь дикого голубя, не вызовешь гневного возмущения соек.

Однажды в полночь я услышал неуверенный голос лесного жаворонка, таинственной ночной птички, и его робкую песнь аббат Дуседам счел за вещий знак несчастья и опасности.

На берегу центрального пруда в зарослях стрелолиста обитает лишь голенастый коростель: время от времени он подает о себе весть – словно напильник работает по металлу; да еще в пасмурную погоду где-то в хмуром поднебесье жалобно плачут ржанки.

Упомянутый пруд, довольно большой, внезапно открывается за барьером из скальных дубов, которые сомкнутым строем стоят плечом к плечу, переплетя короткие узловатые ветви.

Вода в пруду похожа на чернила – несомненный признак безмерной глубины; а уж температура – руку отдергиваешь, словно от укуса. И все-таки пруд рыбный – Грибуан вершей

ловит зеркальных карпов, зеркальных окуней и великолепных, отливающих синевой угрей. Метрах в сорока за крутым склоном южного берега еще одна живая преграда – из высоких тяжеловесных деревьев хвойной породы: впечатление столь негостеприимное, что поневоле замешкаешься перед этим рубежом.

По ту сторону ощеренной иглами тьмы предстает омерзительное зрелище: вся изъеденная язвами каменная кладка стен в черных наростах, пустые глазницы окон, провалившаяся кровля – развалины старинного монастыря Барбускинов.

Чтобы подняться на исполинское крыльцо и приблизиться к единственной окованной железом двери, нужно сначала одолеть пятнадцать высоченных ступеней, стиснутых с обеих сторон вмурованными в камень перилами.

Только прилив необычайной отваги позволил моему добрейшему учителю Дуседаму взойти туда и приняться за обследование печальных останков здания, охраняемого собственным безобразием.

Предполагалось, что результаты изысканий увидят свет в печатном виде. Аббат и в самом деле записал кое-какие свои впечатления – отрывистые и сумбурные, – но так и не собрался закончить сочинение, хотя и прочил ему читательское внимание. Вот один фрагмент его заметок: «Удивительно, в каком неудобстве жили добрые монахи; я полагаю, сие обстоятельство весьма способствовало священному покаянию. Кельи узкие, низкие, без доступа свежего воздуха и све-

та. Столы и скамьи рефекториума вытесаны из грубого серого камня. Часовня столь высока и темна, что свод ее виднеется, будто на дне колодца. За исключением просторных, но крайне неприглядных кухонных помещений, нигде нет и следа очага либо камина. Часть подвала служила, по-видимому, лабораторией: сохранились мощная кладка вытяжных отверстий, а также сложенный из кирпича перегонный куб внушительных размеров, водопровод и ложницы от кузнечного горна. Хотя занятия спагией строго осуждались в минувшие века, некоторые монастырские ученые страстно увлекались этой наукой.

Не меньшее изумление вызывает необычайная протяженность подземных ходов и закоулков, ныне доступных лишь местами по причине обвалов, частичных затоплений и rudеральной растительности, вполне заслуживающей внимания сведущего ботаника. Очевидно, во времена, печально известные всевозможными гонениями, добрые монахи стремились обеспечить себе убежища и пути сообщения или бегства».

Я пытался было побудить аббата и к исследованию самого Мальпертюи – задача несравненно более легкая, но он отказывался с упорством, граничащим с явным недовольством.

После редких визитов в какую-либо неосвоенную часть дома Дуседам долго сидел на своем стуле, нахохлившись, опустив голову и поджав губы, вспотевшие руки мелко подрагивали; подозреваю, в эти минуты он твердил про се-

бя какие-нибудь экзорцизмы против нечистой силы. Вполне возможно, смиренному и верному служителю Господа свыше дано было провидеть ужасную участь, уготованную ему в этом прибежище великого зла, и он принял свою судьбу, как святые принимают мученический венец.

Только в нашей мрачноватой кухне в его глазах пропадало выражение ужаса: творения и общество Элоди придавали силы выносить некое таинственное постороннее присутствие, а быть может, и решимость бросить вызов скрытым и невидимым, но тем более грозным силам.

Бедный, милый аббат страдал оттого, что кревоугодие не просто предосудительно, но и большой смертный грех. Суфле из костного мозга, наштигованная чесноком баранья нога и точащая сок домашняя птица, поданные нашей няней на огромный стол полированного дуба, исторгали у аббата сокрушенные вздохи.

Терзаясь раскаяньем, вонзал он вилку в трепещущие нежным жирком аппетитные куски, кромсал филе, изничтожал компоты; в процессе еды он изо всех сил пытался сложить лоснящиеся соусом губы в горькую сокрушенную усмешку, но улыбка его становилась все более блаженной, все более счастливой.

Впрочем, всякий раз ему удавалось убедить себя в невинности гурманства.

– Коли соизволением Господним по уютным ложбинкам и полянам растут грибы, коли мясистый гребешок венчает

петушиную голову, в глубине укромных долин цветет дикий чеснок, а виноград Мадейры наливается жаром послеполуденных южных сиест – не для того же они оттеняют вкус рагу из дичи, чтобы явить из сего кушанья орудие гибели и проклятья. Между прочим, у Миноса стол не отличался изобилием.

Так рассуждал он. Но произнеся имя верховного судьи Аида, оратор содрогнулся, и тревога проснулась в добрых голубых глазах.

Мои вопросы часто смущали достойного аббата, в особенности когда речь заходила о Мальпертьюи, дядюшке Кассаве и даже моем отце, Николасе Грандсире.

– Есть книги, коих прочитанную страницу уже не открывают вновь, – изрекал он. – Жизнь страдает от хронического прострела в шее и не в состоянии обернуться назад. Последуем же ее примеру, не будем касаться былого: над прошлым властвует смерть и ревниво охраняет свои владения.

– Да ведь позволила же она улизнуть Лазарю, – возразил я.

– Умолкни, несчастный!

– Только вот Лазарь оказался неразговорчивым... Ах, если бы он оставил мемуары!

Тут аббат Дуседам окончательно расстроился.

– Твои безрассудные и непочтительные речи, – жаловался он, – мне придется искупать дополнительным строжайшим покаянием.

Прощаясь с ним на пороге Мальпертьюи, я удерживал его

за полу старой сутаны.

– А зачем дядюшка Кассав завел москательную лавку?

Мы выходили на улицу, и я заставлял аббата обернуться: странным образом соседствовали породнившиеся фасады надменного господского дома и невзрачной лавчонки с тусклыми витринами.

Это маленькое строение не отличалось архитектурным изыском, хотя принадлежало давно минувшей эпохе художественного вкуса и гармонии.

Щипец, контуром схожий со старинным шлемом, увенчанный фонарем из красного кирпича и флюгером, отклонился гребнем назад, словно обладателю шлема нанесли жестокий удар в лицо. В сведенных, узких, как бойницы, окнах блестели, будто надраенные воском, стекла зеленого бутылочного оттенка.

Над дверью еще висела старая вывеска: «Лампернисс. Лаки и краски».

– А все же зачем эта лавка? – настаивал я. – Ведь Нэнси и Матиас Кроок даже не всякий день и на сто су наторгуют.

И Дуседам отвечал с таинственным видом:

– Краски... ах, мой бедный мальчик, вспомни о чудесных изысканиях доктора Мизе. Краски... цвет... речь ангелов. Дядюшка Кассав возжелал кое-что похитить у наших друзей с неба, но... тсс! Об этом лучше не говорить, ведь никогда не знаешь, кто подстерегает наши неосторожные слова и даже мысли!

Резким движением он высвобождал сутану из моих рук и, не оглядываясь, спешил прочь; случилось, под порывом ветра его накидка взмывала, точно большие черные крылья.

Славная Элоди, женщина простая и здравомыслящая, отвечала на мои праздные разглагольствования так:

– Господь хранит свои таинства и карает святотатца, на них посягающего. Отчего же дьявол, божья обезьяна, не может ему подражать и в этом? Надо лишь жить по законам Божьим, Жан-Жак, избегать Сатаны и его соблазнов да читать каждый вечер молитву. Полезно также носить освященное оплечье и поминать святых угодников.

Да, возможно... Как будет видно из дальнейшего, бурлящий поток ужаса застиг Элоди вместе с остальными, но черные чары Мальпертюи не в силах были ее погубить.

Возведение в сан (охотно признаю – звучит несколько напыщенно) новых жильцов Мальпертюи свершилось без особых заминок и столкновений.

Первым прибыл кузен Филарет, самолично управляя тачкой, куда была свалена вся его скудная поклажа.

Нэнси отвела ему большую комнату с окнами в сад, коей кузен Филарет остался премного доволен, – через два часа она уже вся пропахла формалином, йодоформом и этиловым спиртом.

На столе громоздились чашечки и скальпели, пинцеты и ватные тампоны попеременно с блюдечками, наполненными

стеклянными глазами и порошками красителей. На полках и прочей мебели, словно по волшебству, появилось разное зверье – мертвая фауна, пугающая мнимым жиз-неподобием; взгляд перебегал с драгоценной лазури зимородка на элегантно-черного алкиона, фиксировал воплощенное лукавство серебристой ласки и настороженно-угрожающую позу австралийской бородатой ящерицы, погружался в пушистое тепло розовых крохалей и скользил в бледном отблеске змеиной чешуи.

– Братец Жан-Жак, – обратился ко мне кузен Филарет, – мы с тобой чудно поладим. В здешнем здоровенном саду наверняка водится сколько угодно всяких тварей, ты их наловишь, и, будь они в перьях или в шерсти, я их тебе оформлю краше всех живых.

– Единственное живое в саду – мерзкий коростель, – ответил я без всякого энтузиазма.

– Поймай его, увидишь: из моих рук он выйдет совсем не таким гадким.

Семейство Диделоо въехало тихо и незаметно.

Когда я наведалься в просторные апартаменты на втором этаже, назначенные им незлопамятной Нэнси, тетя Сильвия уже вышивала по голубой канве, а дядя Шарль сметывал готовые лоскуты. Кузина Эуриалия не соизволила показаться из своей комнаты.

Как и следовало ожидать, дамы Корме лон оказались не столь покладисты. Правда, сестра выделила им весьма от-

даленные покои, до которых приходилось добираться длинным, мощенным каменной плиткой коридором, под гулкое эхо собственных шагов; потолки спален терялись где-то в неимоверной высоте, словно в часовне. Поэтому дамы настроились всецело скептически и не смягчились даже при виде чудесных настенных гобеленов.

– От этих образин кошмары будут сниться!

– Здесь в комнату нужно не меньше тридцати свечей, – заявила Элеонора.

– В каждой комнате приготовлено по шесть свечей, – сухо отозвалась Нэнси. – Впрочем, каждый волен докупить недостающие две дюжины – ведь нотариус Шамп уже выдал деньги за первый месяц.

– Свои деньги мы потратим по *своему* усмотрению, мадам-уазель, и обойдемся без советов!

Доктору Самбюку досталось помещение причудливое и забавное – абсолютно круглая комнатка в башне, замыкающей западный фасад дома. Доктор был полностью удовлетворен, поскольку предпочитал, по его словам, смягченное великолепие солнечных закатов откровенной горячке восходов.

Завидев в холле Лампернисса, заправлявшего маслом лампы, Нэнси и ему предложила светлую и уютную каморку в южном флигеле.

Лампернисс встревожился.

– Нет, нет, не хочу... о, Богиня... нельзя, чтобы *Он* знал,

где я живу. Я прячусь в разных местах, где *Ему* меня не сыскать и не украсть свет и краски!

Нэнси спокойно и привычно улыбнулась, а Лампернисс убежал с жалобными причитаниями.

Ежедневно – за завтраком в двенадцать часов и за ужином в семь – все обитатели дома обязаны были присутствовать в трапезной зале, просторной и поистине роскошной.

Мебель черного дерева, инкрустированная эбеном и розовым перламутром, в свете ламп и высоких витых восковых свечей обретала прозрачную глубину драгоценного камня; лучи полуденного солнца пронизывали оконные витражи – и в воздухе россыпями, каскадами переливались авантюрины.

Когда в громадном очаге разгорались поленья, казалось, именно здесь – собственное жилище самого огня, куда он каждый раз возвращается после временного отсутствия; по сторонам стояли массивные серебряные таганы и подставки для дров.

Супруги Грибуан, при добровольном содействии Элоди, прислуживали за столом, и, согласно воле покойного дядюшки Кассава, каждый завтрак или ужин больше походил на пиршество.

Хотя участники застолья собирались с единственной целью – сколь возможно продемонстрировать свою холодность и неприступность, должен сознаться, что первая же трапеза получилась чуть ли не забавной.

Дамы Кормелон ели за четверых и брали добавку к каж-

дому блюду с очевидной решимостью не упустить ничего, по праву им причитающегося.

Тетя Сильвия пожеманилась над закусками, зато храбро атаковала жаркое и откровенно объедалась, перепачкав всю салфетку и заляпав скатерть.

Дядя Диделоо быстро оценил редкостные достоинства выставленных вин и теперь то и дело бросал горящий взгляд на мою чудесно красивую сестру.

Доктор Самбюк мгновенно нашел общий язык с кузеном Филаретом, своим соседом по столу.

– М...ням...м...ням... – возглашал чучельщик, преисполненный гастрономического энтузиазма, – не знаю, что я такое ем, но это чертовски вкусно!

– Это тушенное в портвейне филе с ореховым пюре, – пояснил старый врач.

– А завтра нам такого еще дадут? – спросил Филарет, игриво подтолкнув собеседника локтем.

В полное восхищение его привели фигурки, украшающие каждую чашу великолепного фарфорового сервиза из Мустье, – в них подали приготовленный в роме рис со сметаной.

– У меня чертенок с шестью рожками! А у вас, доктор... ага, какой-то парень пьет прямо из бочки!

Он собирался обследовать фарфор и у других присутствующих, чем навлек на себя гнев дам Корме лон: защитив свои владения салфетками, они спросили кузена Филарета, знаком ли он хоть немного с обычаями света.

Добрый малый не почуял подвоха и простодушно ответил, вполне-де знаком, коль скоро с самого дня своего рождения живет на этом свете и, кстати, вполне им доволен.

Нэнси, не такая уж злая в глубине души, видимо, одобряла зарождающиеся взаимоотношения, а меня тревожило поведение Эуриалии.

Держалась она за столом прямо и чопорно, ела мало и с откровенным неудовольствием. Ни искорки в затуманенных глазах, незрячих, даже когда они останавливались на мне.

Скверное блеклое платье к тому же было ей мало и безжалостно стесняло, искажало очертания тела; казалось, свободно жили в ней только волосы – пышная грива, отбрасывающая красные отсветы при малейшем движении головы.

Когда со стола было убрано, дядя Шарль предложил во что-нибудь сыграть.

К моему изумлению, дамы Кормелон согласились на партию в вист с дядюшкой в качестве четвертого партнера.

Доктор Самбюк осчастливил кузена Филарета согласием на игру в шашки.

Тетя Сильвия уместилась в кресле и заснула. Нэнси внезапно исчезла, к явному разочарованию дяди Диделоо. Я не успел заметить, как рядом со мной вдруг очутилась Эуриалия. Необычное, почти болезненное ощущение пронизало меня, когда Эуриалия коснулась моей шеи холодными и твердыми, словно каменными пальцами. Рука ее медлила – долго, так долго, что все мое существо словно погрузилось

в вечное оцепенение.

Чистый хрустальный звон настенных часов возвестил одиннадцать.

Дамы Кормелон, довольные, клохтали – дядюшка Диде-лоо проиграл четыре су.

– А вы играете гораздо лучше, чем я ожидал, Филарет, – с некоторым сожалением отметил доктор Самбюк.

– Я регулярно сражался в шашки в «Маленьком Маркизе», – оправдывался таксидермист, – только один Пикенбот, сапожник, частенько меня обставлял.

– Надо будет научить вас в шахматы, – объявил Самбюк.

Тетя Сильвия, просыпаясь, зевнула, и во рту у нее блеснуло золотом.

– Жан-Жак... – прошептала Эуриалия.

– Что? – тихо промолвил я, с трудом шевеля губами, потому что рука ее все еще касалась моей шеи и странное онемение не проходило.

– Слушай меня, а сам молчи.

– Хорошо, Эуриалия.

– Когда все остальные умрут, ты женишься на мне...

Мне хотелось повернуться, чтобы увидеть ее, но рука на моей шее стала еще тяжелей и холодней, и я не мог пошевелиться. Однако прямо передо мной стояло трюмо.

Два неподвижных зеленых огня светились, словно огромные лунные камни сквозь толщу сумрачных вод.

Глава третья

Песнь песней

*Я увидел Капитана: голова его была прибита
гвоздем к мачте, и я понял, что его покарали боги.
ГЛУФ (Корабль-призрак)*

В город безрадостно и бесславно пришла осень. Возможно, за городской стеной в золото оделись леса, дорожные колеи устлал мягкий, упругий ковер, фруктовые сады во плоти явили хвалу изобилию, и вокруг царили чистая радость и благое довольство. Но в стан сынов человеческих осень пришла скупой на дары и улыбки.

Исторгнутые неизбывными страданиями, слезы текли по фасадам – лицам домов; улицы наполнились резким клеткотом водных потоков и в такт шквальным порывам ветра призрачные руки нетерпеливо стучались в каждую дверь и окно.

Деревья, изгнанники улиц и аллей, съежились – виднелись лишь их углем набросанные абрисы, а мертвые опавшие листья, повинувшись прихоти ветра, так и норовили, будто вражеская длань, нанести пощечину похлеще.

Украшенные гербами печные трубы Мальпертью изрыгали в серое небо дымные колонны – ведь в каждой комнате рокотало пламя, лакомое до дров и каменного угля.

Когда стрелка настенных часов приближалась к четырем

пополудни и серебристое эхо откликалось на последние шаги маятника, из недр кухни по дому победно расползлся запах кофе, а супруги Грибуан спешили расставить зажженные лампы в специально отведенных местах: в углах коридоров, на лестничных площадках, в нишах холла.

Неяркое рассеянное сияние этих отдаленных друг от друга звезд только усугубляло сумрак Мальпертьюи.

В такие минуты москательная лавчонка, прикорнувшая в глубине бокового вестибюля на первом этаже, становилась надежной обителью света. Я пытался найти там временное убежище и сталкивался с молчаливой враждебностью Нэнси и Матиаса Кроока.

Это их территория, и они не скрывали, что ни с кем не намерены делиться преимуществами своего уютного владения.

Иногда я натыкался на всхлипывающий и стенающий призыв, скрюченный на лестничных ступеньках: Лампернисс издали тосковал по своему утерянному раю.

Я был непрочь с ним подружиться – Лампернисс вызывал у меня странное чувство жалости и даже нечто вроде инстинктивной симпатии; он же сторонился меня, как и всех прочих. И все-таки я не сдавался, нарочно попадаясь на его пути, чтобы сказать несколько приветливых слов.

Отчасти я был вознагражден за упорство, если, конечно, можно назвать наградой первое из тревожных открытий, сделанных мною в Мальпертьюи.

Жизнь в замкнутом пространстве породила и первый при-
зрак – скуку.

Целыми днями лил дождь и завывал ветер: чудилось ино-
гда, что это уже не просто ливень, а настоящий потоп.

В саду с его омерзительными тайнами тоже невозможно
было отвлечься от мрачных молчаливых будней дома. Де-
ревья бились насмерть голыми ветвями, исхлестанное тело
земли покрылось волдырями, которые лопались брызгами
грязи; когда же ветви и сучья замирали для короткой пере-
дышки, слышно было, как раздраженно булькает и пузырит-
ся пруд.

Поскольку я не большой любитель чтения, меня не пре-
льщала и богатая домашняя библиотека; к тому же темные
кожаные переплеты пахли отсыревшей обувью.

Однажды я все же отважился навестить в библиотеку и
наткнулся там на дядю Диделоо и Алису Кормелон, млад-
шую из трех сестер.

Смешавшись, дядя попытался перейти в наступление.

– Хорошо воспитанный юноша входит, предварительно
постучав!

– Значит, я не хорошо воспитанный юноша! К тому же
здесь, кроме мышей, обычно никого не бывает!

Хлопнув напоследок дверью – в стиле Нэнси, – я подумал,
что Алиса Корме лон в общем-то совсем недурна собой.

После этого случая дядя был со мной неизменно холоден,
зато в обращенных ко мне взорах младшей Кормелон угады-

валось не только беспокойство, но и намек на соучастие в чем-то забавном.

Конечно, всегда можно было укрыться у Элоди, но она, если не колдовала у своих плит, то была целиком поглощена четками и молитвенником.

– Вознесем молитву святой Венеранде, чтобы поскорей кончилась эта погода, выглянуло солнышко и ты смог поиграть в саду.

*Заступница святая Венеранда,
Прими сей дар смиренный...*

Не знаю, что полагалось смиренно принести в дар святой Венеранде, – задолго до конца благочестивого обращения я улизнул из кухни и отправился искать убежища у кузена Филарета.

Там мне, верно, удалось бы обрести отдохновение даже не на один день, если бы не воздух: меня начинало мутить от густых испарений карболки, чуть ли не облаком витающих в комнате.

Таксидермист постоянно трудился над каким-нибудь омерзительным шедевром и очень любил давать тошнотворно-подробные пояснения.

– Принес бы ты зверюшек, малыш, – мне их всегда не хватает, а здесь, по правде говоря, и вообще не разживешься. Как насчет того коростеля, конечно, когда дождь кончится,

а?

Однажды я было возрадовался, учуяв новый аромат среди удушающей вони:

– Вот не знал, что вы курите, кузен Филарет!

– А я и не курю, кузен Жан-Жак.

– Однако здесь пахнет табаком, и очень даже неплохим!

– Курил аббат Дуседам, а не я.

– Как, разве аббат сюда заходит? – удивился я.

– Приходил, – сухо ответил Филарет.

И отвернулся.

Я не только удивился, но и обиделся – как, мой добрейший наставник не известил меня о своих визитах в Мальпертьюи?

О дамах Элеоноре и Розалии Кормелон говорить нечего: я избегал их общества, да и они наверняка без меня не скучали.

Что до Грибуанов, то привратницкая так же мало располагала к веселью, как и сами ее обитатели. Пару раз я к ним навещался, был принят вежливо и почтительно – так встречают случайного путника, которого не ждали и не рассчитывают увидеть вновь. Осведомившись о моем здоровье, прокомментировав вчерашнюю и сегодняшнюю погоду и высказав прогноз на завтра, со мной прощались, словно спроваживая подальше.

Тетушка Сильвия – в ее салоне я словно навещал недвижимую и немую статую; увы, с Эуриалией увидеться тоже не

удавалось! А меня сжигала лихорадка, знакомая разве охотникам за сокровищами, и имя ей было Эуриалия. После общих застолий она исчезала, подобно тени; все попытки случайно встретиться с ней в коридоре или столкнуться на пороге открывшейся двери, застать в одном из салонов или увидеть ее в окне, закончились неудачей. Вокруг меня на морщинистых нетопырьих крыльях кружила скука и вынуждала искать встреч с этим необъяснимым манекеном, которого преследовали загадочные тени и сама тень теней, – с Ламперниссом.

Как-то кузен Филарет поведал мне с глазу на глаз:

– Я тут смастерил новую мышеловку. Отличная штука вышла, вместительная – такая не поранит, да и шкурку не попортит, даже если кто и покрупнее мыши попадет. Ты, кузен, все закутки здесь знаешь, так поставь ее получше – может, где на чердаке?

– Там кроме мышей да крыс ничего не поймает.

– Может быть, может быть, а кто знает? На этих старых чердаках чего только не водится. Вот, помню, жил по соседству с портом некий господин Ликкендорф, так ему попалась роскошная розовая крыса неизвестной породы, а мой друг Пикенбот, сапожник, ручался, на чердаке, дескать, у его бабушки жили мыши с хоботом. А еще...

Тут моего собеседника окликнул доктор Самбюк:

– Эй, Филарет, как насчет урока в шахматы?

Чучельщик сунул мне в руки ловушку – целую клетку из

жесткой проволоки: на нескольких крючках уже была при-
манка – кусочки сала и сыра.

– Удачной охоты, кузен... Как знать?

Это охотничье предприятие меня отнюдь не воодушев-
ляло, но исследовать чердаки Мальпертюи занятно, хоть на
время избавишься от скуки.

Я взбирался по бесконечным лестницам: одни, прямые
и широкие, казалось, должны вести в залы храмов, другие
устремлялись вверх тесной спиралью и упирались в люки,
приподнять которые удавалось, только изо всех сил надавив
плечом.

Совершенно неожиданно я очутился там, где хотел.

Анфилада сводчатых многогранников; кое-где сквозь
вентиляционные отверстия и смотровые окошки пробивал-
ся серый свет. Повсюду абсолютно пусто: ни одного хромо-
ногого стула, задвинутого в угол, ни старого комода, присло-
ненного к стене из потемневших кирпичей, чтобы не рассы-
пался в прах; пол не заставлен источенными жучком сунду-
ками – чистота, будто на мостике пассажирского лайнера.

Мне стало холодно. Ветер, разгуливавший по кровельным
черепицам снаружи, наполнял пустоту то завываниями, то
вздохами.

Я поставил ловушку на первое попавшееся место и по-
спешил прочь, обещая себе, что этим коротким вторжением
в верхние приделы Мальпертюи и ограничится моя помощь
кузену Филарету.

Прошло два дня.

Утром я проснулся раньше обычного – сильнейший порыв ветра чуть не высадил застекленную дверь моей спальни. За окном в серых предрассветных сумерках, зловеще подкрашенных лимонно-желтым на востоке, потоки воды с неистовым ревом низвергались на сад.

Холод скользкой змеей заполз под одеяло, я содрогнулся. И вспомнил, что Элоди, верно, уже разожгла в кухне огонь, и там тепло и уютно.

Скорей туда!

В сумерках коридоров уже кое-где проступали блекло-серые провалы; от погасших ламп исходил густой, жирный чад остывающего масла и обугленных фитилей.

Я спустился в холл первого этажа, откуда вели лестницы в кухонные помещения, как вдруг из мрака протянулась мертвенно-бледная рука и вцепилась в мое плечо.

Я испустил вопль.

– Тише! Тише! Не кричите... нельзя никого звать! – раздался умоляющий шепот.

Передо мной стоял Лампернисс.

Он дрожал всем телом – в полутьме его истощенный силуэт ходил ходуном, точно деревце под порывами шквального ветра.

– Ведь это вы поставили ловушку, – прошептал он, – так, значит... вы знали?.. Я бы никогда не посмел... Вот один и попался! Вы должны пойти, я боюсь. Думаете, это они гасят

лампы?

Возражать было бесполезно; его рука сжала мое предплечье, как тисками, и с неожиданной силой старик увлек меня к лестнице наверх.

И я вновь проделал путь на чердак, только на сей раз с пугающей быстротой – Лампернисс буквально тащил меня. Никогда я не видел его таким разговорчивым, как в эти лихорадочные минуты, – и таким счастливым: сквозь заросли на его лице глаза пылали, как две раскаленные жаровни, и причиной тому была радость.

Лампернисс наклонился ко мне с таинственным видом, словно собираясь доверить важный секрет:

– Я, конечно, понимаю – это *Он*... Но ведь *Он* мог бы забыть. Если бы *Он* забылся и забыл про меня, а? И время, и законы природы – все здесь во власти каких-то загадочных сил, которые то погружают в забвение, то пробуждают память. А вдруг *Он* забыл, и кто-то другой гасит лампы? Я кое-что о них знаю. Они злы оттого, что такие маленькие, и издеваются над всеми, кто больше них. В судьбах грядущего им не отведено никакой роли. И значит, их можно ловить в эту противную крысоловку... ага, так им и надо! Я бы их убивал и мучил – тогда ведь мои лампы не гасли бы и никто не посмел бы украсть у меня краски?

– Не знаю, о ком вы говорите, Лампернисс, и вообще ничего не понимаю, – как можно мягче сказал я.

– Ах да, ведь здесь и нельзя отвечать по-иному.

В конце крутого подъема, на самых подступах к чердаку, его лихорадочный порыв внезапно угас.

– Послушайте, – прошептал он, – вы ничего не слышите?

Он так затрясся, что и по мне словно пробежали разряды из лейденской банки.

Да, я тоже слышал...

Высокий пронзительный звук, вгрызающийся в барабанные перепонки, – звук бешено работающего по металлу тонкого напильника.

Временами звук затихал, и в эти мгновеньные передышки слышалось что-то вроде раздраженного птичьего чириканья.

– Бог мой, – полу всхлипнул, полусглотнул Лампернисс, – его СПАСАЮТ!

Я оттолкнул Лампернисса и попытался пошутить:

– С каких это пор крысы распиливают ловушки, чтобы освободить своих соплеменников?

Точно пернатый хищник, старик впился в меня желтыми скрюченными пальцами.

– Молчите... и не вздумайте открыть люк – они разбегутся по всему дому! И погаснет свет! Слышите вы, несчастный? Ни ламп, ни солнца, ни луны... вечная проклятая ночь... Бежим отсюда!

По ту сторону люка – резкий лопающийся звук поддавшегося стального прута, громкий писк, пронзительные смешки.

Да-да, тоненькие смешки впивались в уши, как заточенные щипцы, резали слух, как лезвие бритвы...

Я начал вырываться от Лампернисса: лягнув старика так, что он громко застонал от боли, я наконец освободился и крикнул ему:

– Хочу посмотреть!

Лампернисс с хриплым клекотом осел на пол, но уже через секунду, невнятно причитая, мчался вниз по лестницам.

За люком воцарилась тишина.

Я уперся плечами в крышку люка и приподнял ее.

Бледные отсветы зари чуть проникали сквозь слуховые окна; в паре футов от меня стояла ловушка с погнутыми и выломанными прутьями.

С ужасом и отвращением я поднял клетку: красная бисеринка слабо поблескивала на гладком дне – отполированной самшитовой дощечке, – капля свежей крови.

А в дюйме от нее за кусочек приманки цеплялась...

Рука.

Отрубленная кисть руки, с чистым и розовым срезом.

Рука прекрасной формы, с ухоженной смуглой кожей, величиной с... обыкновенную муху.

На каждом пальце этой кошмарной миниатюрной руки рос непропорционально длинный ноготь, заостренный, как игла. Я отбросил ловушку с ее омерзительным содержимым подальше в темный угол.

На чердаке было почти темно, заря только-только осторожно закрадывалась сюда, и в этой полутьме я увидел...

Я увидел нечто размером не больше крысы.

Существо в человеческом облике, но безобразно уменьшенном. А за ним толпились еще абсолютно такие же. Эти гротескные фигурки, эти гнусные насекомые святотатственно присвоили образ и подобие Божье... Хоть и миниатюрные, твари эти так и сочили ужас, злобу, ненависть и угрозу.

Еще секунда – и крошечные монстры набросятся на меня. Я испустил душераздирающий вопль и последовал примеру Лампернисса: свалился кувырком через весь первый пролет, прыгал вниз с верхней ступени каждого следующего марша, стрелой пролетал широкие лестничные площадки.

Внезапно я вновь наткнулся на Лампернисса.

Вприпрыжку преодолевая длинный коридор, он размахивал факелом, пылавшим ярким красным пламенем. Старик бросался от лампы к лампе, подносил к фитилям огонь – и в темноте рождались желтые шары света.

И тут я оказался испуганным и беспомощным свидетелем могущества темных сил в Мальпертью.

Едва фитиль лампы успевал разгореться, как бесформенная тень стремительно отделялась от стены и словно наваливалась на огонек – и снова воцарялся мрак.

Лампернисс закричал – погас факел и в его руке.

В течение нескольких дней я не встречал жалкого паяца, только по-прежнему где-то в сумерках коридоров раздавались его причитания.

Кузен Филарет больше не заговаривал о своей ловушке,

да и я помалкивал на эту тему.

В скором времени мои тревоги и страхи приковало другое событие, куда более зловещее.

Когда в холле на первом этаже раздавался гонг, все незамедлительно откликались на этот призыв к ужину.

Кузен Филарет обычно первым открывал дверь комнаты и радостно окликал с лестничной площадки своего друга доктора Самбюка:

– Что у нас сегодня на ужин, док? Я как раз проголодался... Удивительно, сколь набивание чучел способствует аппетиту!

А старый врач в ответ:

– Наверняка ляжка какой-нибудь... уточки!

Эскадронной рысью цокали по звонким плитам дамы Кормелон; что касается Диделоо, то они находились в полной боевой готовности за столом трапезной еще до общего призыва.

Раздавался скрип подъемника, подающего кушанья из кухни в столовую, и Грибуаны начинали деловито суетиться. Нэнси, примерная хозяйка дома, командовала, когда и что подавать.

Часто сигнал к ужину заставлял меня где-нибудь в отдаленной части дома, иногда в саду, если случалась приличная погода.

В этот вечер я услышал гонг из желтой гостиной, где намеревался стащить пару витых свечей и оставить их рядом с

миской Лампернисса, – ему был бы приятен такой подарок.

Закрыв за собой дверь гостиной, я не торопясь отправился в столовую и вдруг в конце коридора увидел ярко освещенную штору москательной лавки.

Странно: ведь обычно Матиас Кроок выключал газ и закрывал магазинчик сразу после ухода Нэнси. Он быстро перекусывал в соседней харчевне и возвращался на свидание с моей сестрой на пороге Мальпертьюи – там они болтали и смеялись до самой ночи.

Уже несколько дней мне не терпелось поведать о своем приключении на чердаке кому-нибудь, кто без улыбки выслушал бы мой удивительный секрет.

Разумеется, я прежде всего подумал об аббате Дуседаме, но он больше не появлялся в Мальпертьюи.

Матиасу Крооку я симпатизировал, хотя мне никогда не приходилось подолгу с ним беседовать.

Он был миловиден, как девушка, широко улыбался белоснежной улыбкой и уже издали приветствовал меня дружескими жестами.

Его тенорок, доносившийся иногда из подсобки для приготовления различных смесей, порой скрашивал гнетущее молчание Мальпертьюи. Нэнси уверяла, что он сам сочиняет свои песни; одна из них отныне будет похоронно звучать у меня в ушах до конца дней моих. Очень привлекательная мелодия, в ритме медленного вальса, с легкими вариациями подстраивалась под великолепные слова Песни Песней:

Я роза Сарона и лилия долин...
Имя твое, как разлитое миро...

Нэнси очень любила этот мотив и в хорошем настроении постоянно его напевала.

Пока я смотрел на освещенный магазинчик, раздался голос Матиаса, и Песнь Песней возвестила враждебному мраку о любви и красоте.

Слишком долго поджидал я удобного случая поговорить с глазу на глаз с Матиасом, чтобы упустить такую возможность.

Я живо пробежал по коридору и вошел в москательную лавку.

К моему удивлению, в лавке никого не было — однако совсем рядом голос продолжал петь:

— *Я роза Сарона...*

— Матиас! — позвал я.

— *И лилия долин...*

— Матиас Кроок! — повторил я.

— *Имя твое, как разлитое миро...*

Песня оборвалась; в наступившей тишине было слышно, как шипя выходит газ из медного крана, рождая пляску яркого мотылька.

— Ну же! Матиас, почему вы прячетесь? Кое-что хочу спросить у вас... вернее, рассказать...

– *Я роза Сарона...*

Отпрянув, я ударился о прилавок.

Голос запел снова – несомненно голос Матиаса, только теперь он звучал с удвоенной силой.

– *И лилия долин...*

Я зажал уши руками. Песня гремела, как гром, так, что звенели склянки на полках и стекла в шкафах.

– *Имя твое, как разлитое миро!*

Это было невыносимо. Уже не человеческий голос, но яростный катаракт, обвал звуков и нот, бьющий в стены и потрясающий кровлю, – словно вокруг меня бушевал ураган немыслимой природы и силы.

Я уже повернулся бежать из лавки и звать на помощь, когда увидел самого певца.

Он прятался за полуприкрытой дверью и был огромного роста – по крайней мере, возвышался над прилавком; Матиас Кроок, даже вытянувшись, даже встав на что-нибудь, не мог быть таким высоким.

Я машинально окинул взглядом его фигуру: голова в густой тени; такие знакомые руки, кисти белые и тонкие; брюки немного растянуты на худых коленях; ноги...

Странно! Свет от газового рожка весело поблескивал на лакированных ботинках и... пробивался под ними.

Под ногами Матиаса было светло!

Его ноги неподвижно покоились в воздухе... А он пел, пел устрашающим голосом, от которого сотрясались не толь-

ко мензурки на прилавке и безмен с тяжелыми медными шишечками-противовесами, но и многие другие, обычно инертные, привычно неподвижные вещи.

Только в конце коридора, у самой столовой, мне удалось перевести дыхание от ужаса и пронзительно завопить.

– Матиас умер... он висит в лавке!

За дверью прозвенела упавшая на пол вилка, с грохотом повалился стул; минута гробового молчания сменилась шумом голосов. Еще раз успел я в неистовстве крикнуть:

– Висит в лавке! Висит в лавке!

И собирался добавить: он все еще поет!.. Но в тот же момент с треском распахнулись створки дверей и людской поток вырвался в коридор.

Кто-то тащил меня за собой, кажется, кузен Филарет. Больше я не видел Матиаса – сестры Кормелон встали на пороге лавчонки плечом к плечу и загородили проход.

Над головами дяди Диделоо и тети Сильвии я видел обнаженные руки сестры, воздетые в прощальном жесте тонущего человека.

Дядя пролепетал:

– Нет же... говорю вам, нет...

Затем голос доктора Самбюка произнес как отрезал:

– Ни-ни... Кроок вовсе не повешен... Его голова прибита к стене!

Я тупо повторил:

– Его голова прибита к стене!

В этом месте мне очень трудно привести воспоминания в порядок. Приходят на ум слова Лампернисса: «Какие-то загадочные силы то погружают нас в забвение, то пробуждают память». Прибавлю, временами обитатели Мальпертюи действуют как будто с ясным сознанием всего происходящего и для них не существует ничего загадочного; а в иные дни они становятся жалкими существами, дрожащими в страхе перед надвигающимся неведомым. А порой мне кажется: довольно небольшого усилия – и все прояснится, однако некая фатальная расслабленность не дает собраться и решиться...

А в тот страшный момент я без всякой мысли отдался общему потоку и вместе с другими – орущими и жестикулирующими теньями – снова оказался в столовой. Чуть раньше перед моими глазами мелькнуло видение. Около изваяния Терма, у лампы с разгоревшимся и коптящим фитилем Лампернисс держал Нэнси за плечи, и до меня донеслись слова: – О Богиня... просто он тоже не уберег краски и свет!

Не могу сказать, каким образом среди нас внезапно появился Айзенготт. Перед обитателями Мальпертюи словно предстал судия в торжественный и зловещий момент приговора.

Он молвил:

– Довольно ныть и суесловить!..

Никому из вас не дано понять происходящее в Мальпертюи!..

Да никто и не смог бы понять!..

Каждую фразу отделяло от другой молчание, как будто Айзенготт отвечал на молчаливые вопросы.

Кузен Филарет выступил вперед:

– Айзенготт, я сделаю что нужно.

И они с доктором Самбюком, который, казалось, стал выше ростом, вышли из столовой. Шаги удалялись в сторону москательной лавки и скоро затихли.

– Вы будете жить по-прежнему – таково приказание Кассава! – закончил Айзенготт, обращаясь ко всем обитателям Мальпертюи.

Его борода белела, как снег, а глаза сверкали, точно два карбункула.

Ответила одна только Элоди:

– Я стану молиться.

Но Айзенготт не отозвался, хотя эти веские слова несомненно были обращены к нему.

И в самом деле, жизнь потекла прежним руслом, будто кто замазал густым дегтем дикое происшествие того вечера.

Со следующего дня Нэнси начала дежурить в магазине, обслуживая все более редких покупателей; по большей части она пребывала наедине с собой в рыжеватых отсветах газового освещения. Я ни разу не видел ее плачущей и не слышал ни единой жалобы.

Возможно, я один только и продолжал размышлять о случившемся, хотя и мои мысли были туманны и путаны; я долго пытался восстановить в памяти поведение кузины Эури-

алии в те трагические минуты и с тягостной уверенностью припомнил: когда все в смятении и ужасе ринулись к месту кровавого происшествия, Эуриалия даже не шелохнулась, осталась сидеть за столом, безразлично или вообще с полным отсутствием мысли продолжала глядеть в свою тарелку.

Мальпертью явил свою грозную волю жалким пленникам – и они смиренно понурили головы.

Так я никому и не рассказал ни о крошечной отрубленной руке в крысоловке, поставленной в чердачном углу, ни о том, что мертвый Матиас Кроок, голова которого была прибита к стене, громогласно распевал Песнь Песней.

Глава четвертая

Дом на набережной сигнальной мачты

Кто это движется, бодрствует и выжидает в доме сем?

ПОРИЦКИ (*История привидений*)

Неверно было бы сказать, что ужас Мальпертью проявлялся с неуклонной размеренностью и устрашающие события следовали друг за другом с постоянством океанских приливов или фаз луны, подобно року дома Атридов.

Беря в расчет прекрасные изыскания господина Френе-ля, я склонен объяснить пики и спады в действии злых сил Мальпертью явлением интерференции. В таком случае про-

исходит нечто вроде пульсации, причем интенсивность явления находится в сложном соотношении с фактором времени.

Разговоры на подобные темы вызывают все более явное отвращение у аббата Дуседама, и тем не менее он соизволил сказать что-то о «кривизне пространства», коей объясняется соположение двух кардинально несхожих миров и существование гибельного места их пересечения – Мальпертюи.

Это, конечно, лишь образное выражение сути; аббат с мрачным удовлетворением утверждает, что без обширных познаний в математике мне не добиться четкого и ясного знания проблемы.

Он безжалостно оставляет меня в потемках, ибо я никогда не был, не есмь и уж, верно, не буду светочем знаний и кладезем премудрости.

Эманация зла, таким образом, допускает определенные передышки: дух тьмы собирается с силами для нового удара либо просто на время забывает про нас – а мы и рады миру да спокойствию.

Кузен Филарет все чаще ставит в тупик своего шахматного учителя, доктора Самбюка; уставившись в доску, Самбюк ворчит:

– Филарет, мальчик мой, тут одно из двух: либо ты где-то раскопал превосходный трактат по шахматам и втихомолку его изучаешь, либо тебе везет, как последнему висельнику.

Таксидермист довольнехонек, ерзает на стуле и попивает молоко, а Самбюк продолжает:

– Сия комбинация коня с ладьей, основанная на жертве поганой пешки... кх-м! кх-м! да, парень, ты молодец! Это же находка, я сходу купился!

Тетя Сильвия вышила какой-то сложный рисунок, и Эленора Кормелон откровенно снисходит до комплимента:

– Настоящий антик, сударыня!

Розалия не собирается отставать:

– Какой милый котик.

Тетя Сильвия поясняет:

– Рисунок мне дала Эуриалия.

И кузина снисходительно комментирует:

– Это горный африканский лев.

Алиса адресует Эуриалии не лишённую очарования улыбку:

– Вы превосходно рисуете, мадмуазель; вижу, вы работаете над портретом, только не пойму, чей же он?

– Принцесса Нофрит, – коротко бросает кузина.

Тут я вмешиваюсь в разговор.

– Это из искусства Древнего Египта.

– Спасибо за объяснение, – говорит Эуриалия с иронией, весьма для меня болезненной.

Гляжу на нее мрачным взором, в ответ – ноль внимания. А я готов полюбить ее всем своим существом или же возненавидеть всеми силами души. С того самого вечера, когда ее рука сковала меня и неслыханное обещание сорвалось с ее уст, мое существование ей как будто совсем безразлично.

Несколько раз я все более робко предлагал ей украдкой свидание в саду или в библиотеке. Эуриалия коротко и резко отказывала, а то и просто поворачивалась спиной, не сказав ни слова.

Я нахожу, что она одевается как старуха, а ее волосы не возьмет никакой гребень, лицо у нее – каменная маска, и вообще она противная, противная...

В тот день я сказал ей:

– Знаешь, Эуриалия, завтра мне исполнится двадцать лет!

И в ответ получил:

– Ну что ж, самое время выбраться из колыбели.

Я поклялся себе отомстить за такое оскорбление, хоть и не представлял, каким образом.

Впрочем... у меня забрезжила идея, расплывчатая, смутная, но она заставила меня трепетать и краснеть.

Нэнси ни в чем не изменила образа жизни; только совсем побледнела и под глазами синие круги: от этого она даже похорошела – так что дядя Диделоо, случайно коснувшись ее платья, весь дрожит.

Дождь перестал, но, разогнав на небе стада туч, осень спустила с цепи колючий и упорный ветер с востока, возвещающий приближение зимы.

Сад уже выглядит не так враждебно, и я решил воспользоваться немногими относительно теплыми часами, когда там гостит солнце.

Но всякий раз прогулка срывается.

Едва я добираюсь до пруда, меня пронизывает озноб, я плотней укутываю шею шелковым шарфом – без него Элоди не выпускает погулять – и возвращаюсь домой.

Тогда я обещаю себе, что наавтра выйду опять, и... не выхожу. Почему? Чувствую – причина кроется *вне меня*.

Совершенно очевидно – нечто, некая сила не дает мне переступить определенный рубеж, ибо *все, что мне придется там увидеть*, еще не воплощено во времени; и вот я опять узник размеренных будней.

После трапезы мы все дольше задерживаемся в столовой, иногда всей компанией перебираемся в маленькую круглую гостиную, скромную и уютную, оживленную чудесным огнем растопленного камина.

Кресла здесь глубокие и мягкие, на полу пушистый густой ковер чистой шерсти, а в одном из шкапов расположилась целая батарея бутылок, столь ценимых мужчинами.

Вот один из наших вечеров. Даже Нэнси с нами, она согласилась заменить дядю Шарля в висте с дамами Корме лон.

Нэнси играет плохо, Алиса немногим лучше, чем весьма недовольны старшие сестры.

Наконец Розалия не выдерживает:

– Ты играешь словно ребенок, и на ум не придет, что тебе скоро тридцать шесть, Алекта!

Алиса дернулась, и я заметил, как испуганно и гневно вспыхнули ее глаза.

Возможно, ее укололо напоминание о возрасте, а возмож-

но...

Ага, кажется, и старшая сестра не одобряет оговорки средней: рука Элеоноры ложится на плечо Розалии, и та с трудом сдерживает гримасу боли. Только вот почему она назвала младшую Алектой? Похоже на имя Алиса, но я убежден, что старшая Кормелон недовольна именно, казалось бы, незначительной оговоркой.

Самбюк тоже обратил внимание на странное поведение сестер.

Он поднял голову, и на его сморщенном лице появилось какое-то непонятное выражение...

Что тут скажешь – остается пожать плечами... только долгими нудными вечерами обращаешь внимание на такую чепуху.

Вообще-то, сколько бы я ни злился, внимание мое приковано лишь к Эуриалии: она склонилась над альбомом и что-то рисует карандашом...

И вдруг меня передернуло: ни разу не взглянув на меня прямо, злодейка, оказывается, наблюдала за мной в зеркале; гротескная, намеренно окарикатуренная фигура на листе бумаги – несомненно я!

С тяжелым сердцем я покидаю гостиную, сопровождаемый только улыбкой Алисы Корме лон.

Слоняюсь по пустынному дому; кое-где зажжены лампы. Вот уже несколько дней их никто не гасит, и Лампернисс больше не бродит, будто неприкаянная душа, по коридорам

со зловещими тенями; он частенько посиживает даже на кухне, где угощается вафлями и блинами Элоди.

Я вновь прибегаю к единственному способу убить время, которым вполне невинно заполняю тягостный досуг: слежу за Грибуанами! Жалкое времяпрепровождение, что и говорить, да к тому же не слишком богатое открытиями.

В маленьком квадратном оконце слегка сдвинута занавеска – в щелку можно наблюдать Грибуанов и не быть замеченным. Привратничья одновременно служит им кухней, это тесная и самая темная комната во всем доме. Тусклый свет проникает через застекленную фрамугу над дверью, при таком освещении самые мелкие предметы отбрасывают несуразно длинную тень. Если Грибуаны не заняты по хозяйству, они коротают время за грубо сколоченным столом, покрытым старой плисовой скатертью красного цвета.

Грибуан в греческой феске с кисточкой курит длинную темную трубку; его жена, сложив руки на коленях, о чем-то грезит, впериw невидящий взгляд в безыскусные фигурки на картине из Эпиналя⁵, украшающей противоположную стену. Даже односложными словами они обмениваются редко.

В общем-то смотреть не на что, и однако я ценю время, проведенное перед окошком с приспущенной занавеской: наблюдаю за двумя неподвижными персонажами и силюсь понять, что же происходит в них самих, счастливых в своей

⁵ Эпиналь – город на Мозеле, где с конца XVIII века существовало массовое производство дешевых репродукций на религиозные или бытовые темы.

инерции и своем молчании.

Случается, Грибуаны высвобождаются из-под свинцового гнета бездеятельности.

Женщина направляется в самый дальний угол и появляется, прижимая к груди темный кожаный мешок. Грибуан откладывает трубку и облизывает черные губы: они собрались считать свои деньги.

Считают, считают! Считают!

Выражение лиц меняется, и вот уже две огромные крысы когтистыми лапами выстраивают столбики экю и золотых.

Шевелятся поджатые губы, и я угадываю растущие цифры: счет заканчивается неслышной артикуляцией девиза:

– Экономить! Надо экономить!

Звон золотых и серебряных монет не слышен сквозь стекло, и когда супруга Грибу ан паучьим движением сгребает их со стола в кошель, они падают беззвучно.

Женщина опять идет в угол; затем садится к столу, руки ложатся на колени, а Грибу ан вновь раскуривает трубку, набитую какой-то гадостью, – смрад, напоминающий чад от головешки, проникает через щели в стекле моего наблюдательного пункта.

Мне пришло в голову напугать их. И как-то раз, сам не зная почему, я громко крикнул: Чиик!..

Землетрясение не сильнее ошеломило бы двух затворников, опьяненных деньгами и одиночеством.

Дабы понять, в чем дело, придется сделать небольшое от-

ступление.

Кроме постоянных жильцов в Мальпертьюи никогда никого не бывает – за исключением одного лишь творения, столь безликого, что большинство обитателей дома вряд ли когда и узнают о его существовании.

Раз в неделю супруга Грибуан приступает к генеральной уборке всего огромного дома, и благодаря помощнику через несколько часов все прямо-таки блестит и сияет чистотой.

Одет этот помощник в грубое шерстяное платье, а на большущую круглую голову словно навинчен головной убор, смутно напоминающий треуголку; фигурой он отталкивающе схож с бочкой, посаженной на толстенные ноги со ступнями, как два чугуна; по-обезьяньи длинные руки придают законченность этому грубому наброску человеческого тела. Он таскает громоздкие деревянные бадьи, полные воды, как пушинкой орудует неопикуемой величины швабрами, щетками и тряпками размером с простыню.

Тяжеленные вещи при его приближении начинают скользить и приподниматься будто сами собой; вопреки своей массе сей феномен перемещается и успевает по работе с невероятной быстротой. Когда он колет дрова для растопки – кубометры дров на мелкие полешки, – его топор пляшет в воздухе, а щепки разлетаются вокруг, как градины во время внезапной бури.

Я поостерегся допытываться о нем у Грибуанов: *в Мальпертьюи подобных вопросов не задают* – это правило, кото-

рому следуешь изначально и по собственному внутреннему убеждению.

Однажды я вознамерился заглянуть ему в лицо – и отпрянул в ужасе: лица не было.

Под тенью треуголки гладкую блестящую розовую поверхность рассекали три узкие прорези вместо глаз и рта.

Все приказания Грибуаны отдавали ему жестами, никогда не прибегая к словам; он же изредка испускал единственный отрывистый звук, будто щелкал клювом ночной козодой:

– Чиик! Чиик!

Откуда он приходил? Куда удалялся, закончив работу?

Однажды только я видел, как Грибу ан уводил его куда-то по саду, пока они не скрылись за деревьями.

Так вот, в один прекрасный день, когда супруги насытились страстью скупцов и вернулись в привычное состояние угрюмой протрации, я крикнул: Чиик! Чиик! – и ей-богу, имитация удалась.

Грибу ан выронил трубку, его жена неожиданно дико завизжала.

Одновременно они кинулись к двери, в мгновение ока задвинули все щеколды и задвижки, подтащили стол и забаррикадировались стульями.

Из какого-то темного угла Грибу ан вытащил длинную бордажную саблю и свирепо пролаял – даже мне было слышно:

– Это ты... это ты... больше некому!

В ответ его жена растерянно заныла:

– А я тебе говорю, не может быть! Абсолютно не-воз-мож-но!

Я счел за лучшее не повторять столь хорошо удавшуюся шутку, опасаясь сделать какое-нибудь неизвестное открытие, и уразумел, что в Мальпертьюи сокрыта еще одна тайна.

Как-то утром на той неделе, когда мне исполнилось двадцать лет, я спустился в кухню: Элоди растапливала печи, чтобы приготовить завтрак. Доктор Самбюк составлял ей компанию – смаковал глоточек испанского вина и грыз печенье.

– Элоди, – попросил я, – дай мне ключ от нашего дома.

– От нашего дома? – удивилась няня.

– Ну да, от нашего дома на набережной Сигнальной Мачты – собираюсь туда наведаться после завтрака.

Впервые после переезда в Мальпертьюи я намеревался на несколько часов отсюда улизнуть. Элоди колебалась, на ее прямодушном лице отразилась явная боязливость и осуждение.

Самбюк принялся напевать:

– Когда вырастают крылья...

Элоди покраснела и тихо промолвила:

– Постыдился бы...

– А почему, – возразил доктор, – совсем даже наоборот. Если император Катая жил, окруженный восхищением, почитанием и любовью семи миллионов своих подданных, так

это потому, что уже в возрасте десяти лет он содержал семьсот жен.

– Я его нянчила, вот такого малыша, и подумать только...

Элоди отвернулась, и я услышал подавленное всхлипывание.

– И все-таки, Элоди, дай мне ключ.

Тяжело вздохнув, она подошла к огромному комоду, пошарила в ящике и молча протянула мне ключ.

Сердце мое странно и сладостно щемило, когда я уходил из кухни; на темной лестнице слышалось шуршание женского платья, но обнаружить никого не удалось.

За завтраком я едва прикоснулся к еде, чем вызвал насмешки кузена Филарета – он-то воздал должное плотным мясным блюдам и не менее сытным кушаньям из птицы. Я исподтишка наблюдал за остальными, как будто малейший неосторожный жест мог выдать план чудесной эскапады.

Но, как обычно, у них не вызывало интереса что-либо новое, если оно не наполняло тарелки.

Дядя по-прежнему пялился на погруженную в задумчивость Нэнси; Самбюк растолковывал Филарету тонкости меню; сестры Кормелон, за исключением сдержанно улыбающейся Алисы, ели будто по особому заданию; тетя Сильвия подчищала тарелку краюхой хлеба; Эуриалия развлекалась игрой солнечных лучей в своем бокале; Грибуаны неслышно скользили от одного сотрапезника к другому, словно куклы на колесиках.

Уже переступив порог Мальпертюи, я вдруг ощутил страх таинственного постороннего вмешательства, которое могло помешать выполнить намеченное.

Я испуганно оглянулся вокруг, но в обычно царивших здесь сумерках ничто не шевельнулось, только бог Терм издали смотрел на меня белесыми каменными глазами.

Улица встретила приветливой улыбкой; косою луч солнца осветил воробьиную битву за соломинку, издалика доносилась скороговорка торговца свежей рыбой.

Я переключил внимание на людей, возникающих передо мной в золотистой дымке: обыкновенные невыразительные лица прохожих, спешащих по своим будничным делам; они вовсе не замечали меня, я же был готов расцеловать эти незнакомые физиономии.

На горбатом мосту через речку с зеленоватым течением какой-то старикашка углубился в созерцание опущенной в воду лески.

– Холодновато сегодня, а все же два леща есть! – прокричал он, когда я шел мимо.

Перед витриной булочной неловкий подмастерье, весь обсыпанный мукой, невзначай наклонил корзину, из нее посыпались свежие, еще дымящиеся хлебцы; в открытом окне кабачка с настежь распахнутыми шторами двое, не выпуская изо рта раскуренных трубок, торжественно чокались голубыми фарфоровыми кружками, увенчанными шапками пены.

Все эти безыскусные картинки дышали жизнью: я жадно

глотал чуть морозный воздух улицы, в котором, казалось, слились и аромат горячих хлебов, и вкус пенного пива, и журчание бегущего потока, и ликование старого рыболова.

Сразу за углом набережной Сигнальной Мачты виден наш дом с опущенными зелеными ставнями.

Ключ туго повернулся в замочной скважине, и дверные пружины слегка закрипели – мягкий упрек за долгое отсутствие, высказанный добрым и тихим домом моего детства.

Я отсалютовал величественному и суровому Николасу Грандсиру в раме с потускневшей позолотой и помчался в маленькую гостиную: сколько безмятежных часов проведено здесь!

В воздухе витал легкий запах прели и затхлости, но в очаге были приготовлены дрова.

И стоило взыграть первым языкам пламени, как дом окончательно пробудился и встретил меня с привычным радушием. Широкий диван, на который Нэнси набросала несусветное множество подушек, так и приглашал прилечь, за стеклами шкафа всеми цветами спектра поблескивали переплеты книг – заброшенных, но уже навечно запечатленных в памяти.

Кокетливые безделушки делали вид, будто налет пыли ничуть не умаляет их прелести, розово-полосатые раковины при моем приближении вновь приглушенно запели вечную песнь моря. Бесчисленные приветствия, слившиеся в дружеское объятие, исполненное ласки и участия, звали остаться

здесь подольше.

В углу каминной полки лежали трубка вишневого дерева и табакерка из покрытой глазурью керамики, забытые аббатом Дуседамом.

Несколько опасаясь терпкого табачного соблазна, я все же с умилением вспомнил моего славного наставника, набил и раскурил трубку.

До сих пор удивляюсь, сколь триумфальным оказалось мое приобщение раю курильщиков: организм отнюдь не возмутился, напротив, с первых же затяжек я изведal полнейшее удовольствие.

Я весь отдался наслаждению тройным счастьем – временно обретенной свободой, старым добрым окружением и одиноким посвящением в табачное таинство, – и радость заставила на время забыть про смутное ожидание...

Ожидание неизвестно чего, но, выходя из Мальпертюи, я был уверен – ожидание непременно сбудется.

И теперь назвал свою уверенность вслух:

– Я жду... Я жду...

Призывая в свидетели окружающие вещи, я вопрошал слегка запыленные безделушки, гулом приборя зовущие морские раковины, тонкие завитки голубого дыма.

– Я жду... я жду...

И внезапно в ответ раздалось робкое звяканье колокольчика в прихожей.

На миг сердце замерло в груди от страха, я весь сжался в

уютном тепле диванных подушек.

Звонок позвал вновь – настойчиво и нетерпеливо.

Казалось, целая вечность минула, пока я встал с дивана, прошел мимо портрета Николаса Грандсира, открыл входную дверь.

В мягком золоте послеполуденного солнца вырисовывался силуэт, лицо скрывала вуаль. Гибкая фигура бесшумно скользнула в холл и дальше, в гостиную с диваном.

Вуаль упала, я узнал эту улыбку... сильные руки легли мне на плечи – и я склонился под их тяжестью, жгучие губы впились в мои...

Алиса Кормелон пришла... Теперь я был уверен, что ждал именно ее, *она и должна была прийти...*

Пылающие поленья наполнили гостиную знойным смолистым ароматом, табачный дым смешался с запахом пряностей и меда, а на тканый шерстяной ковер с мягким шелестом упали вуаль, платье Алисы, источая пьянящее дыхание роз и амбры.

На потемневшие скаты крыш спустились сумерки, в золе камина догорал огонь, и темные воды залили зеркала, когда Алиса уложила свои слегка растрепанные длинные густые волосы цвета гагата и эбенового дерева.

– Пора уходить, – прошептала она одним дыханием.

– Давай останемся здесь, – отчаянно воспротивился я, сжимая ее в объятиях.

Без малейшего труда Алиса освободилась из этих жалких

оков – совершенная форма ее рук, словно изваянных из слоновой кости, таила силу под стать стальной силе воли.

– Значит, мы вернемся сюда еще...

Уже стемнело, и я не мог видеть выражения ее глаз.

– Возможно, – вздохнула она.

Пленительные очертания тела, поведавшего мне свои тайны, вновь скрылись под платьем, накидкой, вуалью.

Вдруг Алиса схватила меня за руки – она вся трепетала.

– Слушай... кто-то ходит по дому!

Я прислушался, и меня пробрала дрожь: явственно приближались тяжелые медленные шаги, и этот приглушенный звук безжалостно всколыхнул, разорвал тишину.

Невозможно было различить, спускался ли кто-то с верхнего этажа или поднимался из подвала, но звук шагов пронзил, заполнил все пространство и тем не менее не отражался от стен, не будил отголосков.

Шаги миновали холл и внезапно оборвались у двери гостиной, где мы с Алисой замерли, окаменев от ужаса.

Сейчас дверь медленно повернется на петлях и...

Дверь не отворилась.

Звучный и торжественный голос медленно произнес в вечерней тьме:

– Алекта! Алекта! Алекта!

Один за другим три размеренных удара в дверь – три раза мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, точно удары сотрясли изнутри самое мое естество.

Алиса пошатнулась, выпрямилась и быстрым движением распахнула дверь.

Холл был пуст, зеленоватая полоска, словно потерявший-ся лунный блик, протянулась сквозь витраж.

– Идем, – приказала она.

Мы очутились на улице; в мягких сумерках один за другим зажигались огни.

– Алекта...

Гневное восклицание, и боль в моем плече, будто сжатом тисками.

– Никогда... слышишь? Никогда... не произноси больше этого имени, иначе горе и ужас тебе!

У поворота на мост она покинула меня не прощаясь; не знаю, какой дорогой она добралась в Мальпертью раньше меня, а я ведь шел кратчайшим путем и не мешкал ни секунды.

Элоди взяла у меня ключ и ничего не сказала.

Я присел к очагу, в кастрюлях на огне тихо истекало слезой жаркое.

– Элоди, я захватил с собой из нашего дома трубку и табакерку аббата Дуседама – кажется, мне доставит огромное удовольствие курить.

Только что вошедший доктор Самбюк одобрительно подхватил:

– Рад этому, мой мальчик. Если вы курите трубку, значит, под крышей Мальпертью появился еще один мужчина, а Бог

свидетель – не так уж здесь много мужчин!

Элоди по-прежнему молчала и явно пребывала в дурном расположении духа.

Я вышел из кухни, Самбюк за мной.

На лестнице маленький доктор взял меня за руку.

– Слушайте!

Издали доносились стенания.

– Это Лампернисс – лампы снова гаснут!

И доктор удалился припрыгивающими птичьими шажками.

В вестибюле я наткнулся на Нэнси, сестра увлекла меня в угол к богу Терму; при свете лампы под стеклянным колпаком она внимательно оглядела меня.

– О, Жижи, что происходит? Что случилось? Ты на себя не похож... за несколько часов, пока мы не виделись. Ты... ты весь в отца... на портрете...

Она хотела поцеловать мои волосы, вдруг отпрянула, словно пронзенная болєю.

– Ты пахнешь розой и амброй... о, мой Жижи!

И убежала в темноту, безудержно рыдая.

Я остался стоять, прислонившись к постаменту каменного бога; где-то во тьме бесконечно печальный голос произнес:

– Богиня плачет... похищен свет ее очей и сердца!

Вечер завершился в ротонде гостиной: шахматы, вист и вышивание – вышивание, вист и шахматы.

Алиса, вопреки обыкновению, ни разу не ошиблась за всю

игру и смущенно покраснела, заслужив похвалу.

Эуриалия встала, выронив карандаш из непослушных пальцев, и обогнула большой стол, за которым расположились игроки.

За спиной Алисы она остановилась и якобы заинтересовалась игрой; я сразу заметил, что она вовсе не рассматривает раскрашенные кусочки картона – взгляд ее был прикован к шее Алисы, белой, удлиненной, бесподобно грациозной шее – о, с какой болью расставались с ней мои губы!

Эуриалия вся вибрировала, будто одержимая чуждой злой волей, руки ее поднимались все выше, выше к этой белой шее.

С улыбкой на устах Алиса думала о своем, не подозревая о безмолвном гневе моей кузины.

Что до меня, то мне вовсе не было страшно, напротив, гордость и торжество обуревали мою душу.

«Она ревнует! Эуриалия ревнует!»

Даже не задаваясь вопросом, догадывается ли кузина о моем дерзком любовном походе, я про себя ликовал:

«Она ревнует!»

И почти желал, чтобы хищные ногти впились в шею жертвы, однако кульминации не последовало: руки Эуриалии опустились, скрылись в складках черного платья; снова медленно обойдя стол, она теперь включила в этот круг и меня и оказалась за моей спиной.

Я пристально всматривался в стоявшее неподалеку трю-

мо, совершенно темное из-за скромного освещения комнаты.

Внезапно во мгле вспыхнули два зловещих светлячка – уже второй раз я увидел впившиеся в меня глаза тигра, только в этот миг они горели не загадочным опаловым светом – из них рвалось пламя неопишуемой ярости.

Я не обернулся.

Глава пятая

Exit диделоо... Exit нэнси... Exit чиик...

*Некоторые злодеяния подлежат только
божественному отмщению.*

КНИГА ЕНОХА

Уже далеко не впервой подкараулив на лестнице Алису, я украдкой передал ей записку с просьбой о повторном свидании в доме на набережной Сигнальной Мачты.

Заканчивалась записка мольбой: «Положите ваш ответ под изваяние бога Терма».

Но Терм и Купидон, покровитель влюбленных, – разные боги; на третий призыв, настойчивый и горестный, последовал отклик – квадратик бумаги с кратким «Нет!»

Все мои ухищрения добиться свидания с младшей из дам Кормелон были бесполезны.

Я подстерегал Алису, как охотник подстерегает жертву,

она уклонялась от встреч с ловкостью, граничащей с издевкой, – и так продолжалось до тех пор, пока я случайно не открыл причину ее упорства; это открытие разбило мне сердце.

Случилось это в один ничем не примечательный день, когда Мальпертуй затих в своем странном оцепенении; все таинственное и ужасное, сокрытое в доме, то ли на время исчезло, то ли замерло, собираясь с силами.

В желтой гостиной, столь враждебной присутствию кого бы то ни было, что туда редко кто заходил, сидел дядя Диделоо и что-то быстро писал.

В приоткрытую дверь я видел его, склоненного над листом бумаги, – на лбу испарина, глаза лихорадочно блестя.

Торопливо просушив исписанный лист промокательной бумагой из бювара, дядя запечатал конверт и быстро покинул комнату.

Я моментально проскользнул в гостиную и схватил бювар.

Почерк у дяди Диделоо оказался крупным и понятным, его гусиное перо оставляло довольно толстые чернильные линии, так что на промокательной бумаге отпечатались точная копия написанного, только в зеркально отраженном виде.

Делом одной секунды было поднести промокательную бумагу к изобличающему зеркалу. О, мое сердце, мое бедное двадцати летнее сердце...

Обожжаемая Алиса!

Хочу вновь с тобой свидетелься, однако наши встречи в Мальпертьюи становятся совсем небезопасными. Хотя я и успокаиваю себя непрерывно, что нас не подозревают, но чей-то внимательный и злоеющий взгляд, я чувствую, следит за нами из черной мглы. Необходимо вырваться на пару часиков из этого окаянного дома. Я был занят поисками убежища, которое надежно укрыло бы наши ласки, – и нашел!

Запомни хорошенько адрес: улица Сорвиголовы, дом семь. Эта улочка мало кому известна, начинается она от площади Вязов и кончается на Гусином Лугу.

В доме номер семь живет мамаша Груль: старуха весьма жадна до денег, наполовину слепая и глухая, да не настолько, чтобы не услышать тройной звонок, – по такому звонку она откроет дверь в любое время. Итак, тебе откроют хоть в полночь, никогда не узнают и даже не взглянут в твою сторону. Поднимешься по лестнице на площадку с двумя дверями.

Комната, НАША КОМНАТА, выходит на палисадник и обязательно тебе понравится – у мамыши Груль во времена ее расцвета, сдается, был неплохой вкус.

Жду тебя сегодня в полночь. Из Мальпертьюи уйти несложно: если не слишком настаивать на висте, все улягутся в десять часов.

Считай это пожеланием... Увы, обожаемая моя Алиса, не вынуждай меня приказывать. Иначе придется назвать

тебя – Алекта...

Твой Шарль

Я выронил бювар, открывший мне такую гнусность, и убежал в сад, чтобы скрыть от случайного взора слезы ярости и стыда.

Когда пронзительный северный ветер, порывами сотрясавший деревья, высушил слезы, на ум пришла последняя фраза письма, несомненно таившая угрозу: «Иначе придется назвать тебя – Алекта!»

Почему это имя, даже созвучное имени Алиса, пробудило бешенство в совиных глазах дамы Элеоноры Кормелон?

Чей таинственный голос произнес это имя в тот вечер на набережной Сигнальной Мачты и почему Алиса явно страшился чего-то и чуть ли не угрожает мне?

Страданиям сердца отнюдь не чуждо мучительно-острое наслаждение – это я открыл, вернувшись в желтую гостиную, чтобы вновь перечитать столь горькие для меня слова в бюваре.

Но бювара на месте не оказалось.

Наверное, дядя Диделоо вспомнил о своей оплошности и забрал бювар, а посему я не особенно встревожился.

За ужином я наблюдал за Алисой: легкий румянец на щеках, оживленно блестящие глаза подтверждали – письмо прочитано адресатом; торжествующий вид дяди Диделоо яснее ясного свидетельствовал о характере ответа.

Алиса согласилась на ночное любовное свидание!

Возможно, для меня все закончилось бы слезами, горьким осадком в душе и, наконец, целебным забвением, если бы опьяненный успехом Диделоо неосторожно не вздумал посмеяться над моей молодостью.

Доктор Самбюк, философствуя, остановился на преимуществах зрелого возраста и упомянул цicerонову речь *De Senectute*⁶.

Диделоо согласился с ним и добавил язвительно:

– И подумать только, что учителя навязывают этот шедевр всяким соплякам, вроде нашего друга Жан-Жака. Вот уж и впрямь метать бисер перед свиньями.

Я вспыхнул от негодования, а дядюшка развеселился.

– Не сердитесь, малыш, – завершил он мягким и покровительственным тоном, – вам в утешение остаются чудесные гудящие волчки и агатовые шарики.

Я закрипел зубами и вышел прочь из гостиной, а дядя прямо-таки зашелся от смеха.

– Мерзавец, – бормотал я, – еще поглядим, какую рожу вы скорчите, когда...

Меня обуревали планы один другого запутаннее и сумбурнее, только увидев за ужином Алису, я понял, как надо действовать.

Ревность разъедала мне сердце, злость кружила голову, словно коварное вино.

⁶ О старости (лат.).

И я решился...

На углу улицы Старой Верфи ночной сторож, вооруженный алебардой, прокричал половину одиннадцатого – в этот миг я бесшумно притворил за собой входную дверь.

Дядя Диделоо точно вычислил, когда Мальпертью одолеет сон: в десять часов дом затих и погрузился во мрак, кое-где в коридорах рассеянный лишь вечными лампадами, которым пока не угрожали темные силы.

В городе отмечали какой-то праздник: за озаренными красным окнами кабачков слышались песни и смех, и по пути мне попалось несколько пьяниц, беседовавших чуть ли не с луной.

Кое-где на пустынных улицах догорали огни праздничных лампионов.

До площади Вязов мне пришлось добираться по некоей улице сомнительной репутации, где теснились постыдные заведения. С порога одного из притонов меня окликнули – компания в масках:

– Эй, красавчик, угости выпивкой!

Я продолжал путь не оглядываясь, а вслед мне неслись насмешки и грубые шуточки.

Конец улицы терялся во мгле, последние дома весьма мрачного вида освещал единственный висячий фонарь.

В кругу света неподвижно стоял ночной гуляка, задрав голову к небу. На нем был черный плащ с капюшоном; прибли-

жившись, я убедился, что он, по-видимому, тоже участвовал в замирающем празднестве – лицо его скрывала маска.

Но какая маска...

Помню, когда я был маленьким, Элоди однажды вырвала из моей книги с картинками гравюру с изображением дьявола, раскрашивающего маски. Лукавый склонился над лицом из картона и быстрыми мазками кисти превращал его в нечто ужасное, коему нет имени в этом мире.

При первом же взгляде на эту картинку у меня начались судороги, но я, как замороженный, не мог отвести от нее глаз, – и Элоди поспешила отделаться от нее навсегда.

Так вот, обращенная к звездам маска сразу же напомнила мне ту картинку – и столь ярко, что я невольно отпрянул в сторону.

Одинокая фигура не шевельнулась – казалось, человек не заметил ни меня, ни моего испуганного движения. Он стоял, прислонившись к стене, с запрокинутой головой, и фонарь освещал устрашающую гримасу поддельной личины.

Я быстро прошел мимо.

На углу я обернулся: человек исчез. Предо мной открылась площадь Вязов – дома расступились, пропустив вперед несколько деревьев и позволив видеть небо с восходящей молодой луной.

На мгновение лунный серп померк, будто скрытый огромной тенью, – а ведь в чистом морозном небе не было ни облачка...

Тень проплыла над деревьями, над домами; что-то мягко шлепнулось наземь около меня: маленькая мертвая сова со свежей кровью на серебристом оперении брюшка.

Я трижды позвонил в дом номер семь на улице Сорвиголовы. Старуха отворила, с жадностью вцепилась когтями в протянутые деньги, оцарапав мне руку, и тут же повернулась спиной.

Узкая лестница, освещенная венецианской лампой, вела наверх.

Где-то сзади, на первом этаже, старуха принялась что-то бормотать своему коту.

Перегнувшись через перила лестницы, я увидел, что она забилась в огромное плюшевое кресло, с котом, которого звала Лупка, на коленях.

Верно, вот так, с течением лет, постепенно глаза ее переставали видеть и она привыкала жить в вечном полусне, заполнившем долгие часы бесполезного досуга.

Когда звенел звонок, нервная дрожь пробежала по кошачьей спине, и старуха знала – пришла пора впустить визитеров и получить деньги.

А до чего же странные вещи приговаривала старая ведьма!

– Богам опять захотелось пожить, Лупка, только теперь на их долю выпала гнусная человеческая участь. Это хорошо, ох, хорошо, и меня очень радует. Тише! Ты не любишь, чтоб

я об этом толковала... Он тоже не любит, да пускай себе!.. Мне хуже чем есть не будет!

Трижды по твоей шерстке прокатилась бархатная волна, Лупка, я открыла, и в моей руке очутилось золото. Золото теплое, греет сердце, а серебро холодней, его ласка не растекается теплом по моим жилам. Как он выглядит, человек, которого отказываются видеть мои глаза? Ответь, Лупка, ты так красноречиво вздрагиваешь. Так, так, теперь знаю – жалкий слизень, налипший на колесо судьбы... стопа Божия уже занесена над ним.

А золото было горячее, как сама любовь... и коснулась я – руки еще не мужчины. Впрочем, какое мне дело... но кто же все-таки смеет противиться поступи рока? Кто он? Где он? Что он делает? Какая мне разница, а твоя чудесная густая шерстка больно уж разговорчива сегодня, мне остается лишь внять ее речи... Язычок пламени, колеблемый на ветру страха и мучения? Что-что? Он мечется во второй комнате, подслушивает, что происходит или произойдет по соседству? Ах, Лупка, когда-то все это называлось одним словом – молодость!

Замолчи... замолчи! Не смей видеть дальше, Лупка!

Она не звонила трижды в звонок любви, этого не понадобилось. И золота я от нее не получила, мне и дверь не пришлось ей открывать. Замолчи, замолчи... По твоей шерстке бегут искры – ведь даже ты, демон, боишься и почитаешь ее.

Ага! Три звонка, иду открыть.

А остальное – это дело самой ночи.

Так, в полудреме, сама с собой разговаривала мамаша Груль.

Внизу у лестницы слышался шум, и я покинул свой наблюдательный пост – праздное суесловие старухи мне надоело и вызывало лишь муторное ощущение, как всякое зрелище подобного распада.

Я приблизился к комнате, выходившей на палисадник.

Дверь открыта, в комнате никого.

Сердце мое сжалось – да, мерзавец Диделоо не солгал и не преувеличил, обещая Алисе гнездышко, достойное любви.

До сих пор удивляюсь, где в этом низком и невзрачном домишке, в этой застойной затхлой атмосфере под замшелой крышей скрывалось такое чудо неги и уюта.

За невесомой завесой прозрачного шелка в отделанных перламутром канделябрах горели свечи; в глубине очага, выложенного редкостным мрамором, на мелко наколотых поленьях, потрескивая, танцевал розовый и голубой огонь.

Взгляд не сразу улавливал очертания предметов обстановки, все как бы парило в белом и сиреневом, словно в сердце огромного снежного шара.

Стойкий запах тубероз витал в теплом воздухе, на консоли чеканного серебра клепсидра отсчитывала мгновения, роняя хрустальные слезинки.

На минуту я поддался очарованию места, пока вдруг не

спохватился – ведь здесь, в этом мечтательно-голубом обрамлении должна умереть моя первая любовь. Но жгучая ревность очень быстро уступила место другому чувству: нечто невыразимо гнетущее властвовало над этой декорацией безмятежного покоя. И не надо мной нависла неизбывная угроза; скрытый ужас здесь, совсем рядом, и направлен не на меня.

Я хотел было предупредить об опасности Алису и даже дядю Диделоо, – но мое тело подчинялось уже не мне, а некой чуждой посторонней воле.

Словно сомнамбула, я пятясь отступил из комнаты и вошел в соседнюю дверь. По лестнице поднимались шаги.

Ох! После белого и сиреневого Эдема – клоака. Через окна, не прикрытые занавеской или ширмой, нахальная луна бесстыдно обнажала уродливое и гнусное мое убежище.

Дверь осталась открытой, лампа венецианского стекла освещала лестничную площадку: в неярком разноцветном свете четко обрисовался силуэт дяди Диделоо.

Он показался мне уродливым и смешным в своем рыжем пальто с откинутым капюшоном и в маленькой касторовой шляпе.

Поднимаясь по лестнице, Диделоо насвистывал один из тех пошлых мотивчиков, что я слышал сегодня на праздничных улицах.

В чудесной комнате он издал довольное хрюканье и к полному моему негодованию заблеял Песнь Песней несчастного

Матиаса Кроока:

Я роза Сарона...

Имя твое, как разлитое миро...

Ах, негодяй! Трогательную песню, освященную кровью Матиаса, он извратил отсебятиной и пел на такой гнусный манер, что меня замутило:

Разлитое, разлитое миро

Тир-лим-паму тир-лим-пам-паму тир-лим пампам...

Тридцать шесть ножек – восемнадцать дырок...

Я несомненно кинулся бы на него, высказал в лицо все, что о нем думаю, и надавал пощечин, но все мое тело сковало ужасом. Ибо ужас явился...

Нечто огромное и черное беззучно поднялось по ступеням, миновало площадку и скользнуло к любовному гнездышку, где продолжал голосить Диделоо.

Я узнал маску с улицы.

Обладатель маски остановился перед моей дверью, лунный свет упал на него. Оказалось, я видел тогда не отталкивающую личину из картона, но истинный образ, словно явившийся из кошмарного сна.

Откинутый капюшон не скрывал голову пришельца – громадную, меловой белизны, с будто просверленными отвер-

ствиями налитых кровью глаз, в которых мерцали отсветы адского пламени. Ухмыляющийся огромный черный рот обнажился оскалом хищного зверя из породы кошачьих, с торчащими клыками – по ним то и дело сновал узкий раздвоенный язык.

Вокруг этой inferнальной личины зловещим ореолом клубились черные испарения: постоянное внутреннее движение вверх и вниз напоминало кипящую смолу, – и вдруг в черной гуще прорезались бесчисленные глаза, немигающие, жестокие – демонический лик окаймляли змеи, свившиеся в клубки, – жалящие, поблескивающие чешуей исчадия преисподней.

Несколько секунд чудовище не двигалось, словно позволяя мне запечатлеть в памяти все нюансы безгранично отвратительного зрелища; затем накидка упала с плеч, показались перепончатые крылья, сталью сверкнули когти.

С невообразимым ревом, от которого до основания содрогнулся ветхий дом, оно ворвалось в комнату к поющему Диделоо.

В свою очередь я испустил испуганный вопль и кинулся вон из комнаты; по-моему, несмотря на панический страх, я даже хотел прийти на помощь жалкому дяде Диделоо.

Что-то меня удержало.

Что-то свинцовой тяжестью легло мне на плечо.

Чудесной удлиненной формы рука, словно точенная из старинной слоновой кости.

Она протянулась из густого ночного мрака...

Повинуясь ей, я медленно подошел к окну: ночное небо было объято невообразимым смятением; при свете луны я еще успел заметить взмахи гигантских крыл, налитые красной яростью зрачки, чудовищные когти, вспарывающие замороженное пространство. А в беснующемся адском неистовстве невероятных конфигураций, в пятнадцати туалетах над землей отчаянно барахтался человек, в котором я узнал дядю Диделоо.

Я закричал, но мой слабый зов о помощи утонул в раскатах грома и вспышках молний.

Рука слоновой кости больше не удерживала меня: она исчезла во тьме комнаты, будто сотканная из белого пламени.

Однако теперь я видел очертания всей фигуры, коей она принадлежала, – сначала не очень отчетливо из-за мглы.

Длинный сюртук... серебристая борода, большие глаза, строгие и бесконечно печальные.

– Айзенготт!

Никто не ответил: призрак исчез. Судорожно рыдая, я бросился прочь из отвратительного строения.

Я бежал к площади Вязов и уже издали увидел распростертое на земле тело дяди Диделоо.

Приблизиться не успел: коренастый силуэт метнулся из тени деревьев.

Я узнал кузена Филарета.

Он подбежал к труп, хладнокровно поднял его и унес в

НОЧЬ.

Больше никто и никогда не заговорил о дяде Диделоо! НИКОГДА!

Чья таинственная воля вынудила выкинуть его из памяти, будто и не было его в нашей семье, будто он вовсе и не существовал?..

За столом тетя Сильвия теперь сидела рядом с Розалией Кормелон, прежней соседкой дяди, и, казалось, все так и должно быть.

Однажды, когда мы с Элоди были в кухне вдвоем, я упомянул имя погибшего.

Не поднимая глаз, устремленных в огонь, Элоди лишь произнесла:

– Помолимся! Всем нам надо много молиться.

В предрождественские дни ушла моя сестра Нэнси.

Произошло это самым простым образом.

Однажды утром, когда мы на кухне пили кофе втроем – Элоди, доктор Самбюк и я, – она вошла, одетая в широкое драповое пальто, с дорожной сумкой в руке.

– Я ухожу и отказываюсь от права на все обещанные блага. Если будет на то воля Божья, позабочусь о Жижи даже издалека.

– Господь с вами, – тихо произнесла Элоди, не выказав ни малейшего удивления.

– Прощайте, моя красавица, – пробормотал Самбюк и, не

теряя времени, сомкнул челюсти на тартинке с маслом.

Я догнал сестру на лестнице и удержал за полу пальто; она слегка оттолкнула меня.

– Мне не суждено оставаться в Мальпертьюи, как, вероятно, суждено тебе, Жижи, – серьезно и печально сказала она.

– Ты возвращаешься в наш дом на набережной Сигнальной Мачты?

Она отрицательно тряхнула роскошными темными волосами.

– О нет... нет!

Больше она не обернулась; входная дверь захлопнулась с грохотом, в котором слышалось что-то безвозвратное.

Я направился в москательную лавку – там царила пустота.

Склянки, мензурки, весы, коробки и бутылки – все исчезло.

В углу послышался звук, точно скреблась мышь, – это Лампернисс подьедал из миски свое варево.

Я поведал ему об уходе Нэнси, но, по-видимому, он не понимал, о чем речь, зато находил вкус в жалкой трапезе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.